Антон

ЧЕХОВ

Палата № 6



Палата № 6 (Сборник)
Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Чехов. Палата № 6 (Сборник)
Степь. История одной поездки
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Скучная история. Из записок старого человека
I
II
III
IV
V
VI
Дуэль
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Палата № 6

I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Рассказ неизвестного человека
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Три года
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Моя жизнь. Рассказ провинциала
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Мужики
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX

Аннотация

В книгу вошли повести А. П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А. П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.

Антон Чехов.
Палата № 6 (Сборник)

Степь
История одной поездки

I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иваныч Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с

благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили… Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир — мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за

его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты

и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит…

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью…

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал…

— Ну, не отревелся еще, рева! — сказал Кузьмичов. — Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

— Ничего, ничего, брат Егор, ничего… — забормотал скороговоркой о. Христофор. — Ничего, брат… Призывай бога… Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье — тьма… Истинно так.

— Хочешь вернуться? — спросил Кузьмичов.

— Хо… хочу… — ответил Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

— Ничего, ничего, брат… — продолжал о. Христофор. — Бога призывай… Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу… Так-то.

— Польза разная бывает… — сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. — Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

— Это бывает.

— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается… Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось

за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь

замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски…

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы… Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что́ ему нужно. А вдали машет крыльями мельница…

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи…

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится… А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один… За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят… Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «вжжи, вжжи!» По движениям баб,

вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед…

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

Отец Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали

еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары…

— А что, Дениска, догоним нынче обозы? — спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

— К ночи, бог даст, догоним…

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей…

Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

— Стой! — закричал Кузьмичов. — Держи! Тпрр…

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнул Кузьмичов чабану. — Уйми собак, будь они прокляты!

Старик чабан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке — совсем ветхозаветная фигура, — унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

— Чья это отара? — спросил Кузьмичов.

— Варламовская! — громко ответил старик.

— Варламовская! — повторил чабан, стоявший

на другом краю отары.

— Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

— Никак нет… Приказчик ихний проезжали, это точно…

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

— Славный ветряк поставил сыну Болтва! — заметил Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал.

Какой колдун!

II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу, но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой

бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»[1] А я отвечаю: «Christophorus sum».[2] А он: «Ergo connominati sumus», то есть мы, значит, тезки… Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебедин-

---

[1] Примечания: 1
Милый мальчик, как тебя зовут? (*лат.*)

[2] Примечания: 2
Христофор (*лат.*).

ском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латынский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, — говорил отец, — весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

— Должно быть, вы уж все науки забыли! — заметил Кузьмичов.

— Как не забыть? Слава богу, уж восьмой де-

сяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

— Духовная пища! — сказал он. — Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнул Кузьмичов, — а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

— Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, ослеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами

всякого счастливца, избежавшего смерти.

— Дениска, где ты там! Поди ешь! — сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

— Бери, бери! — поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и

кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

— Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то неблизко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь, после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на

нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади… Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная… Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно, и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов… Отец

же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя… И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то неблизко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно

и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее… Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К

Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

— Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

— Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни сло-

ва. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову… Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет… Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше… Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влек-

ла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза…

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

— Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

— Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

— Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

— А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! — сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей,

играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного; пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, породистый пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке: не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и

на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

— Есть! — прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Де-

ниски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.

— Отец Христофор, вставайте, пора! — заговорил он встревоженно. — Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

Отец Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

— Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичов. — Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу…

— Сейчас, сейчас… — забормотал о. Христофор. — Кафизмы почитать надо… Не читал еще нынче.

— Можно и после с кафизмами.

— Иван Иваныч, на каждый день у меня положение… Нельзя.

— Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его

сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

— Finis![3]

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании… Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое

---

[3] Примечания: 3
Кончил! (*лат.*)

облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков… Дрожа в воздухе как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще

было видно его мелькание…

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы… Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу…

Затем скоро наступил вечер.

III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский, — завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фал-

дами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу… милости просим! Давайте мне все ваши вещи… Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и

закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон, Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. — Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой ком-

нате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны — понять было невозможно, так как

гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А… Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда… Извините, Мойсей Мой-

сеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапки спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахара́ми, — сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул о. Христофор. — Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетиту! Чай да сахар! — начал он занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны, — ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару

пальцем. — Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет… — сказал о. Христофор и засмеялся. — Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице… Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого… Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает.

Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич. — У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в Священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да… — согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. — Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому… Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня

никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть, все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се… одышка и всякое там… Болею, плоть немощна, ну да ведь сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах… Хорошо-с… Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се… Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки… живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез

и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О боже мой… — стонал он среди смеха. — Дайте вздохнуть… Так насмешили, что… ох!.. — смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов рас-

чистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, — сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по скольку? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят… В трехрублевках по девяносто… Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте…

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вы-

звала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор, улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, — говорил вполголоса Кузьмичов, — не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения…

— Нет, Иван Иваныч, — вздыхал о. Христофор. — Благодарим вас за внимание… Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой…

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок, — сказал он вполголоса, — какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с

черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. — Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала

кожа. — А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал…», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту…». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая… Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал… — говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту… — отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

— Возьми, детка, — сказала она, подавая

Егорушке пряник. — У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот. — Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще… Что поделываешь?

— Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все… Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заго-

ворил об евреях: сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой… — перебил его о. Христофор. — Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон. — Я вам говорю одно, а вы другое…

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, — вздохнул о. Христофор. — Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право…

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в

глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, — вероятно, на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор. — Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли… На человека не похож…

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломой, выйди отсюда! — строго сказал он. — Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается, — ответил Кузьмичов. — Грубитель и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Ах, боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса. — Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете…

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба

и продолжал:

— Не в своем уме… пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене… А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит… И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза…

Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. — Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей

Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый…

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то

красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая, — прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.

IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал Егорушка у себя дома и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса,

на утесе стоял дыбом золотой конь с брильянтовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь…

«А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

— Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

— От ляха иного и ждать нельзя, — сказал о. Христофор.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней.

Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает

днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь: впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках… Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы

видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы… Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности

неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой… Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог знает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава богу, Иван Иваныч!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.

— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов. — Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.

— Вот что, ребята, — живо сказал Кузьмичов, — вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-

то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать…» — думал он.

— Вы же, черти, его не забижайте! — послышался снизу голос Дениски.

— Прощайте, братцы! С богом! — крикнул Кузьмичов. — Я на вас надеюсь!

— Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий… Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно

засыпал у себя дома в постели…

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее… Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела

его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе

было около двадцати, и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Иванычу-то доводишься?

— Нет, племянник…

— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее…

Слободнее, молодчик… То есть без сапогов-то… Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай бог здоровья… Ничего… Я про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно

покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага… Ну, помогай царица небесная.

Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то… А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший… Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье… В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету… А город ничего, хороший… Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету…. Нету, это верно. Тебя как звать?

— Егорушка.

— Стало быть, Егорий… Святого великомученика Егория Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мне святое имя Пантелей… Пантелей Захаров Холодов… Мы Холодовы будем… Сам я

уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик… Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда… домой то есть. И в деревне был и в городе… В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю… Может, кто и помер… А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре-великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно… Потому ей бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром

после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

— Да, повез парнишку… Повез, это верно…

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:

— Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

— Это не змея, а уж, — крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом. — За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь ужика убил! А ежели бы тебя так?

— Ужа нельзя убивать, это верно… — покойно забормотал Пантелей. — Нельзя… Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная… Человека любит… Уж-то…

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

— Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, — ответил старик. — А ужа бить нельзя… Это верно… Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха да хо-хо-хо… А ты, Вася, не серчай… Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними… Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума… Ничего… Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно… Потому человек образованный, а они глупые… Емельян-то… Он не тронет…

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил он сиплым, придушенным голосом.

— Да вот Вася серчает, — сказал Пантелей. — Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит… Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

— Это от ходьбы, — заметил Вася.

— Не, паря, не… Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя.

Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.

— Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке… так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно что работнику без руки.

— Это верно, — согласился Пантелей.

— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничек с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. — Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с

обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном,

потом повернулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И, как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

— Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь

мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки… А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, — ответил уклончиво старик. — Каждый по-своему… Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье…

— Голубушка моя, матушка-красавица, — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же

выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.

— Лисичка-матушка… легла на спину и играет, словно собачка…

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву — это видел всякий проезжавший степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, веро-

ятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом

и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге! — кричал он. — Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но

даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую — как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск — то Степка и Кирюха «драли» раков.

— Рак! Гляди, братцы: рак! — закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

— Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

— Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов как ни в чем не бывало уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что ж? — согласился Кирюха. — Должно, тут много рыбы…

— Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

— Не дадут!

— Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы все равно — странники.

— Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой

под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

— А ты отчего не купаешься? — спросил Егорушка у Васи.

— А так… Не люблю… — ответил Вася.

— Отчего это у тебя подбородок распух?

— Болит… Я, паничек, на спичечной фабрике работал… Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко, — хрипел Кирюха. — Ничего не

поймаешь!

— Не дергай, черт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!

— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

— Эх! — крякнул Пантелей и притопнул ногами. — Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем — не было слышно. А солнце жгло им спины, кусались мухи, и тела их

из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

— Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали…

— Что там? — кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

— Уже полное! — кричал он, тяжело дыша. — Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася

тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

— Братцы, — удивился Степка, — Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

— Это не пескарь, а бобырик, — покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и

мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здесь! — сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

— Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную

чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю…» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

— Раздавали уж просфору? — спросил он.

— Нету, нету… — угрюмо забормотал сторож. —

Нечего тут…

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

— Почем эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

— А такие пряники у тебя почем?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

— Такие? — спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

— Три копейки пара…

Наступило молчание.

— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

— Племянник Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бывают, — вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку

не желаете ли?

— Пожалуй… — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, столько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

— Хиба це овес? — сказал печально покупатель. — Це не овес, а полова, курам на смих… Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними ле-

жал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем…» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

— Класть сала? — спросил Степка, снимая ложкой пену.

— Зачем? Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха.

Перед тем как снимать с огня котел, Степка бросил в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул — это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей. — Чай, небось тоже есть хочет!

— Наша еда мужицкая!.. — вздохнул Кирюха.

— И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не са-

дясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.

— Не ем я раков... Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко ве-

рил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и на-

хмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал он грубо. — Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

— Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея.

— Когда бог даст, тогда и поедем… Сейчас не поедешь, жарко… Ох, господи твоя воля, владычица… Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе… Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды,

глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку… Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет…

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.

— Ничего… хорошие господа… — бормотал он. — Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то… В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить… Нету, это верно… А парнишка хороший, ничего… Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено… Чти отца твоего и матерь твою… У меня у самого были детки, да погорели… И жена сгорела и детки… Это верно, под Крещенье ночью загорелась изба… Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел… Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками… Да… На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным

пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначились возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало… Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные

пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое… Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней… И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою…

— Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

— Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

— Оно самое…

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

— Да, убили… — сказал нехотя Дымов. — Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог… Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

— О господи… владычица! — вздохнул Пантелей.

— На другой день, чуть свет, — продолжал Дымов, — купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое…» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку…

Дымов стал на колени и потянулся.

— Да, — продолжал он, зевая. — Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить… Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое

дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть… Цел ли — не знаю… Отсюда не видать.

— Цел, — сказал Кирюха.

— Сказывают, денег потом нашли мало.

— Мало, — подтвердил Пантелей. — Рублей сто нашли.

— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал… Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели — в нем души нет, помер…

— По кровяному следу его нашли… — сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

— Злых людей много на свете, — сказал Емельян.

— Много, много! — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. — Много, —

продолжал он вполголоса. — Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо… Злых-то людей… Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть… Спаси и помилуй, царица небесная… Помню, раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах… купец-то… Хороший человек, ничего… Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу — огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и, акромя меня с купцом, других постояльцев не было… Откуда огню быть? Взяло меня сумнение… Подошел я поближе… к огню-то… Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой… в доме-то… Лег я на землю и

поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз…

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

— Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный… На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат… Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам. Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо… Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много… Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить…» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти… Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что…» Ладно… Помолился я богу, и наставил меня бог

на ум… Взлез я на свой тарантас и тихонько… тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то… Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти… Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить бога, вижу — стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить…» Побудил всех… Собрались мужики и пошли со мной… Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами… Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал… А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то… Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

— Сало-то готово? — спросил его шепотом Кирюха.

— Погоди маленько… Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

— Ехал я в другой раз тоже с купцом… — продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. — Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек… купец-то… Остановились мы таким же манером на постоялом дворе… Он в комнатке, я при лошадях… Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу — стоит баба в одной рубахе, босая… «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это

самое, лица на ей нет… «Вставай, говорит, добрый человек! Беда… Хозяева лихо задумали… Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались…» Ну, недаром сердце болело! «Кто же ты сама?» — спрашиваю. «А я, говорит, ихняя стряпуха…» Ладно… Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто… Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха…» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте… гляжу — мать-царица! — входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника… Значит, и работников подговорили… Денег у купца много, так вот, мол, поделим… У всех у пятерых в руках по ножику длинному… По ножику-то… Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу… А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью…» Где уж тут кричать! У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут… Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много

уже нашего брата купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ… Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел… Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет… А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит… В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились… Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, — кричит, — ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали,

испужались и давай бог ноги… А мы скорей на двор, запрягли и — только нас и видели…

— Кто же это в окошко стучал? — спросил Дымов.

— В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому… Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было… Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или

молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, — все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

— Зачем это дед особо сидит?

— Он старой веры, — ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился

и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

— Что такое? — спросил его Дымов.

— Человек какой-то идет, — ответил Вася.

— Где ты его видишь?

— Во-он он! Чуть-чуть белеется…

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

— По шляху он идет? — спросил Дымов.

— Не, полем… Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

— А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, — сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

— Зачем ему гулять? — сказал Пантелей. — Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего… Купцы мученический венец приняли.

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

— Что-то несет, — сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались

шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «По-

глядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

— Хлеб да соль, братцы!

— Милости просим! — отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках — это была убитая дрохва, — и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чем это ты ее? — спросил Дымов.

— Картечью… Дробью не достанешь, не подпустит… Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная небось жесткая — не укусишь…

— Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали, да далече — пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

— Ты кто сам? — спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил

и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто? — повторил Дымов.

— Я-то? — встрепенулся неизвестный. — Константин Звонык, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

— Мы пасеку держим и свиней кормим.

— При отце живешь али сам?

— Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

— Хорошее дело! — сказал Пантелей. — Жена ничего… Это бог благословил…

— Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, — засмеялся Кирюха. — Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул…

— Да господи, нету ее дома! — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. — Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый…

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

— Поехала в Демидово к матери! — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. — Завтра вернется… Сказала, что к обеду назад будет.

— А тебе скучно? — спросил Дымов.

— Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала… А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

— Любишь, значит… — сказал Пантелей.

— Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая, — такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала… А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется… А ведь какая история! — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу. — Теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

— Да ты ешь! — сказал Кирюха.

— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин, не слушая. — Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай… Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хóчу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хóчу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень, борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только, что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо

живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел… Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове… И что же вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики… Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть…

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

— Гляжу, она с парубками около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло… Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова… Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

— А какие слова? — спросил Дымов.

— Слова? И не помню… Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-

та-та! А теперь ни одного слова не выговорю… Ну, и пошла за меня… Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он наконец уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке, по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело… И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на

той стороне ясно вырисовывался другой крест…

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли… Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы! — сказал он умоляюще. — Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споем что-нибудь божественное!

— Я не умею, — сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать у нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание…

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К

чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником… Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать…

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

— «Наша матушка Расия всему свету га-лава!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых

колесах покатила сама глупость.

— Время ехать! — сказал Пантелей. — Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся. — Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.

— Это, молодчик, армянские хутора, — отвечал Пантелей. — Тут армяшки живут. Народ ничего… армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Ды-

мовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. — Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет… Степку послать бы!

— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.

— Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

— Ничего, хороший человек… — говорил Пантелей, глядя на хутора. — Дай бог здоровья, славный господин… Варламов-то, Семен Александрыч… На таких людях, брат, земля держится. Это верно… Петухи еще не поют, а он уж на ногах… Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу… Кружится… Этот уж не упустит дела… Не-ет! Это молодчина…

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Семен Александрыч, — крикнул Пантелей, снимая шляпу, — дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот наконец от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

— Это, должно, его объездчик, — сказал Пантелей. — У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

— А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

— Пошел вон! — крикнул он сердито и замах-

нулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими,

глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

— Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

— Крутой старик… — бормотал Пантелей. — Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек… Не обидит задаром… Ничего…

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

VII

И в следующую за тем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное… Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. — Жадность. Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

— Дурак, вот и все, — просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

— Певчий… — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. — Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста! — усмехнулся Дымов. — Свиненок всякий, еще на губах молоко не

обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, — все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на

пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его… И только когда он шептал: «Мама! мама!» — ему становилось как будто легче…

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него… Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

— Как его звать?

— Егорий… — ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, — сказал он, проходя мимо Емельяна. — Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

— Егорий, возьми! — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это? — спросил Егорушка.

— Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

— Дед, гроза будет? — спросил Егорушка.

— Ах, ножки мои больные, стуженые! — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно,

по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

— А он обложной! — крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

— Скушно мне! — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. — Скушно!

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака

пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей! — крикнул кто-то впереди. — А… а…ва!

— Не слыха-ать! — ответил громко и нараспев Пантелей. — А…а…ва! Аря…а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

— Свят, свят, свят, господь Саваоф, — прошептал Егорушка, крестясь, — исполнь небо и земля славы твоея…

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что

Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

— Пантелей! — позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга,

заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Свят, свят, свят… — шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало и издавало

сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах! тах! тах!» — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — «трра!..».

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» — понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось — «ррра!».

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того,

чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

— Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» — ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

— Дед, великаны! — крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога…

Егорушка еще позвал деда. Не добившись от-

вета, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

— Егоргий, да ты спишь, что ли? — крикнул внизу Пантелей. — Слезай! Оглох, дурачок!..

— Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего… — бормотал Пантелей. — Слава богу… Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего… Слез, Егоргий? Ну, иди в избу… Ничего…

— Свят, свят, свят… — просипел Емельян. — Беспременно где-нибудь ударило… Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова… Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было…

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую бог послал! — говорила она. — А наши в степу ночуют, то-то натерпятся, сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся…

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло…

— Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? — сказала старуха. — Иди садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечем… — сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. — Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

— Наши в степу ночуют… — вздыхала старуха, пока он ел. — Страсти господни… Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай…

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

— Должно, часа два теперь, — сказала она. —

Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют… Небось вымокли все…

— Бабушка, — сказал Егорушка, — я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись… — вздохнула старуха, зевая. — Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается, — бормотала она. — Как бы, не ровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют… Ложись, батюшка, спи… Христос с тобой, внучек… Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

— Парнишка лег? — послышался через минуту шепот Пантелея.

— Лег! — ответила шепотом старуха. — Страс-

ти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать…

— Сейчас пройдет… — прошипел Пантелей, садясь. — Потише стало… Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались… Ребята-то… Нельзя… Уведут лошадей… Вот посижу маленько и пойду на смену… Нельзя, уведут…

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали… Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильней и сильней.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

— Дед, мне холодно! — сказал он и не узнал своего голоса.

— Спи, внучек, спи… — вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и

замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

— Дед! — позвал он. — Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк…

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто — оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

— Это варламовские! — крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал:

«Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

— Дед, мне холодно! — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

— Ничего, скоро до места доедем, — зевнул Пантелей. — Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеян-

ная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив…

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.

— Захворал наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил… парнишка-то… На чужой стороне… Плохо дело!

VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

— А мы еще вчера вечером приехали… Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

— Дяденька и отец Христофор теперь в номере, — продолжал Дениска, — чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

— А-а, Егор Никола-аич! — пропел о. Христофор. — Господин Ломоносов!

— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов. — Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

— Ну, как доехал, puer bone?[4] — засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. — Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца-краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай бог всякому… Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

---

[4] Примечания: 4
Милый мальчик (*лат.*).

— Вот те на! — удивился о. Христофор. — А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

— Вот те на! — повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

— Я… я болен! — проговорил Егорушка.

— Болен? — смутился о. Христофор. — Вот это уж и нехорошо, брат… Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат… а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

— Да, голова горячая… Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал… Ты бога призывай.

— Хинины ему дать… — сказал смущенно Иван Иваныч.

— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать… Георгий, хочешь супчику? А?

— Не… не хочу… — ответил Егорушка.

— Тебя знобит, что ли?

— Прежде знобило, а теперь… теперь жар. У меня все тело болит…

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал

Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

— Вот что, ты раздевайся и ложись спать, — сказал о. Христофор, — тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.

— Бредит… — проговорил вполголоса о. Христофор.

— Хлопоты! — вздохнул Иван Иваныч.

— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою боль-

шую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

— Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол, — вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

— А завтра я в собор думаю… — сказал о. Христофор. — Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

— Говорят, не принимает, — продолжал о.

Христофор, разоблачаясь. — Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

— Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

— Во имя отца и сына и святаго духа… — шептал он. — Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай… Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

— В дороге.

— Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святаго духа… Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на

диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но, когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и

теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

— Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

— Теперь хорошо, — ответил Егорушка, целуя ему руку.

— Слава богу… А я из обедни… Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

— Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, — сказал о. Христофор. — В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая…

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

— Кушай, — сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. — Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки… географию, конечно, историю, богословие, философию, математику… А когда всему выучишься не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли…

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

— Апостол Павел говорит: на учения стран-

на и различна не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся… Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи, святый Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся…

Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

— Хорошо! — сказал он. — Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно… Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю… И им приятно. Так-то вот, брат… Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно,

тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится… Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь…

Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

— Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

— Горе! Горе!

Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

— Ну, со всеми делами справился, — сказал

он. — Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

— «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

— Хлопоты! — бормотал дядя. — Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами…

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» — подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городового, где Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмехнулся городовой. — Она далече,

туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тут Тоскуновой нет, — ответил старик, подумав. — Может, Тимошенко?

— Нет, Тоскунова…

— Извините, Тоскуновой нету…

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите! — крикнул ему сзади старик. — Говорю — нету, значит, нету!

— Послушай, тетенька, — обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке

подсолнухи и груши, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она. — Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А где она теперь живет? — спросил Иван Иваныч.

— Господи! — удивилась старуха, всплескивая руками. — Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

— Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

— Идите все прямо, прямо, прямо… Вот как пройдете красненький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот пере-

улочек и глядите третьи ворота справа…

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

— Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

— Кого вам? — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

— Здравствуйте! — тоже крикнул ей Иван

Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. — Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

— Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

— На что она вам?

— Да, может, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень приятно… Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч… Вы ведь наша, N-ская… Вы у нас и родились, и замуж выходили…

Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

— Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. — Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький…

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

— Господи! — сказала она, ломая руки. — Олеч-

кин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. — Ах, матерь божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

— Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо сказала:

— Атька…

Это значило: Катька.

— Он у вас будет жить, — шептал в зале Иван Иваныч, — ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий…

— Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! — плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболеет или что…

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

— Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте! Оставайся, Егор! — сказал он, обращаясь к племяннику. — Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну… Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей… В печке кричал сверчок,

и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез… И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

— Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

— Ну, — начал Иван Иваныч, поднимаясь, — значит, ты остаешься…

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и ска-

зал:

— Смотри же, учись… Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну… Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.

— Во имя отца и сына и святаго духа… Учись, — сказал он. — Трудись, брат… Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек…

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, — сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. — Седьмого августа вы его на экзамен сведете… Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

— Да вы бы хоть чайку покушали! — простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него… Какова-то будет эта жизнь?

1888

Скучная история
Из записок старого человека

I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние двадцать пять — тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые

или упоминать их всуе в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей… Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве, когда бываю я бо-

лен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений — то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую

себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоми-

нать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкап, или неожиданно загудит горелка в лампе — и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью — значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса…

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку… Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола

и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей — это главным образом и служит темою для нашего разговора.

— Конечно, это нам тяжело, — вздыхает жена, — но, пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое… Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки — и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спра-

шиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «сострадание» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

— Что ж это я сижу? — говорит она, поднима-

ясь. — Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев — пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно

целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

— Сливочный… фисташковый… лимонный…

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый… сливочный… лимонный…», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла

в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… Заложи все это, тебе нужны деньги…»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, — мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец-старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький

домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi».[5] Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных

---

[5] Примечания: 5
«История болезни» (*лат.*).

лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:

— Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он,

разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших *все*, о замечательных

тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого… Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены.

Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем — это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

— Какой это Скобелев?

В другой раз — это было несколько раньше — я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

— А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Патти, нападай на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского

прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь… Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на…», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души, и — пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет

твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины,

какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям… Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле.

И я думаю, что Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится… Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастию, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы

больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать-тридцать лет назад, так и теперь перед смертию меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающею слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться гла-

за, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Нелегко переживать такие минуты.

II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или «Как я

уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со

мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство… — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не… Я держал у вас экзамен уже пять раз и… и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что…

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит

больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг… уйти!

— Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно, — говорю я, — вы не станете ученее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежанья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я…

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

— В таком случае прощайте… Извините.

— Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

— Очень рад быть полезным, коллега, — говорю я, — но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе…

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

— Что вы все ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глу-

бокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.

— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос…

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспи-

танием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это — необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

— Студенты дерутся в университете? — спрашивает она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите их на колени?

— Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть — и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было четырнадцать-пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного

только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

— Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

— Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать-сорок лет назад.

По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через пятьдесят-сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы — лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно

на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, — и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо,

начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества… Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей — это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов,

то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу.

Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и, вместо того чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль…» и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «та-

буну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного

отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела — мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног — ковры, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей… Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или

оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

— Прощайте, — говорит Катя. — Сегодня я не

зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

— А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

— У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно…

— Мама! — говорит ей укоризненно Лиза. — Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

— Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в Средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он

о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не переваривaю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас

бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки…

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня

горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится… Скажите: ведь не нравится?» И я должен отве-

чать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» — и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и немудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим, на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и

сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно… Неужели? Скажите…» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня votre excellence.[6]

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они пред-

[6] Примечания: 6
Ваше превосходительство (*франц.*).

ставляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, — начинает она. — Я насчет Лизы… Отчего ты не обратишь внимания?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным… Гнеккер имеет насчет Лизы намерения… Что ты скажешь?

— Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

— Но так нельзя… нельзя…

Она встает и ходит в волнении.

— Так нельзя относиться к серьезному шагу… — говорит она. — Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится… Хорошо… Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии… Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей… Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

— Откуда тебе это известно?

— Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

— Зачем?

— Ты разузнаешь там… У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу…

— Не поеду я в Харьков, — говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

— Ради бога, Николай Степаныч! — умоляет она меня, всхлипывая. — Ради бога, сними с меня

эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Варя, — говорю я ласково. — Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь… Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и, в общем, получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домаш-

ние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

— А ты все лежишь, — говорю я, помолчав немного и отдохнув. — Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

— Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

— Замуж бы выходила, — говорю я полушутя.

— Но за кого. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дур-

ное впечатление, Катя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот… Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

— Плохо дело, моя милая! — начинаю я со вздохом. — Очень плохо…

— Что такое?

— Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим

правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли

от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен и каждый день теряю в весе, — то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными…

— Болезнь тут ни при чем, — перебивает меня Катя. — Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь нелепости.

— Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

— Ничтожества! — повторяет она. — Вы обеда-

ли сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

— Катя, — говорю я строго, — прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу, Чем скорее, тем лучше.

— Что за вздор! А университет?

— И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Боже мой, как ты резка! — ужасаюсь я. — Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем

прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду… — рассказываю я. — Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки… Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины — одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно

умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

— Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить — это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

— Ох, господи! — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. — Бывают же на свете такие комики!

— А что? — спрашивает Катя.

— Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые

не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня — теперь погиб, пропало дело…

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

— Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша alma mater,[7] не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю… Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

— Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками —

---

[7] Примечания: 7

Мать-кормилица (*лат.*). — Так в старину называли высшую школу люди, ее окончившие.

просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа… «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое…

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век, — говорит Михаил Федорович с расстановкой. — Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь

такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

— И мухи не знают науки, — говорю я, — но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами… Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика, — вздыхает Михаил Федорович. — Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколенье».

— Да, ужасно измельчали, — соглашается Катя. — Скажите, в последние пять-десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

— Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

— Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров… Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями…

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше, как вчера, мой товарищ гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и

опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д. и т. д. …

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

— Уморительные попадаются субъекты, — говорит Михаил Федорович. — Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза, из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое… в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец — забыл его фамилию — добыл из человеческого мозга новый алкалоид идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намедни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену — ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог

или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» — «Благородно», — отвечает «из насих». «Брр-раво! — орет медик. — Бла-а-родно. Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями — похоже на то, как будто она играет на гармонике, — и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

— Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

— А я еще посижу немножко, — говорит Михаил Федорович. — Позволяете, Екатерина Владимировна?

— Позволяю, — отвечает Катя.

— Bene.[8] В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится… — угрюмо вставляет Катя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я

---

[8] Примечания: 8
Хорошо (*лат.*).

советовал бы вам прекратить занятия...» И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят

два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница…

IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых

обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять-пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или, наконец, — талантливо, умно, но неблагородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью.

Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности… Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Все это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с

иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic[9] в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд: в антракте один из моих товарищей экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы,

---

[9] Примечания: 9
Так (*лат.*).

что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio![10] Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять-пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник

---

[10] Примечания: 10
Последний довод! (*лат.*).

и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя к нему в сени.

— Ваше превосходительство! — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. — Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус![11]

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

— Все у нас там благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Как перед истинным…

---

[11] Примечания: 11

Искаженное начало старинной студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus» — «Будем веселиться, пока молоды» (*лат.*).

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой — немец — уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий — тоже немец — перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем го-

ворит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею… Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди…» Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит…

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», — и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных

мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши немцы…

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,

Но курам никогда до облак не подняться...

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик — что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, — и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

— Хорошо, съезжу... — соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери,

но тотчас же возвращается и говорит:

— Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя… Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе… К тому же у нее такая репутация, что…

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор…

— Оставьте меня! — кричу я. — Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не за-

метить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера… Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

— Там увидим, — отвечает она.

— Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

— Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

— Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, — говорит она. — Вы редкий экземпляр,

и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

— Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

— Да, — отвечаю я.

— Гм… Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить

в актрисы, если есть призвание?

— Не могу.

— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству…

— Не лукавьте, Николаи Степаныч, — перебивает меня Катя. — Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще… я не люблю этих разговоров об искусстве! — продолжает она нервно. — Не люблю! И так уж опошлили его, благодарю покорно!

— Кто опошлил?

— Те опошлили его пьянством, газеты — фа-

мильярным отношением, умные люди — философией.

— Философия тут ни при чем.

— При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся краснеет. — Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это… это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и… и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.

— Опять этот Михаил Федорыч! — говорит Катя с досадой. — Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся… Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минуту».

Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанскою. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими

дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе…

V

Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни.

Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать…

Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у ме-

ня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду… Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку…

— Киви-киви! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Киви-киви!

Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведанная боль?

Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется… Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги

опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степаныч? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается…

— Хорошо… с удовольствием… — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. — Хорошо… Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице, — думаю я. — Сейчас…» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой… ах, боже мой! — бормочет она,

жмурясь от нашей свечи. — Не могу, не могу…

— Лиза, дитя мое, — говорю я. — Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый… — рыдает она, — папа мой хороший… Крошечка мой, миленький… Я не знаю, что со мною… Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, дитя мое, бог с тобой, — говорю я. — Не нужно плакать. Мне самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена. — Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего… Это пройдет… Спи, спи…

Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не при-

давал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой.

«Пустяки… — думаю я. — Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все… Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения…»

Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою…

Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли… Рассвет еще не скоро.

Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну.

— Николай Степаныч! — слышу я шепот. — Николай Степаныч!

Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.

— Это я… — говорит она. — Я… Катя!

При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.

— Что тебе?

— Простите, — говорит она. — Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело… Я не выдержала и поехала сюда… У вас в окне свет, и… и я решила постучать… Извините… Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего… Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.

Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно не виданным выражением доверчивости.

— Николай Степаныч! — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки. — Дорогой мой, прошу вас… умоляю… Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь

на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите от меня мои деньги!

— Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?

— Вы поедете куда-нибудь лечиться… Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?

Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:

— Да? Возьмете?

— Нет, мой друг, не возьму… — говорю я. — Спасибо.

Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.

— Поезжай домой спать, — говорю я. — Завтра увидимся.

— Значит, вы не считаете меня своим другом? — спрашивает она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

— Извините… — говорит она, понизив голос на целую октаву. — Я понимаю вас… Одолжаться у такого человека, как я… у отставной актрисы… Впрочем, прощайте…

И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.

VI

Я в Харькове.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли или в Бердичев.

Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду tic'а. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.

Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город, как свои пять пальцев, но не

помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений — то же самое.

В коридоре часы бьют час, потом два, потом три… Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностию времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра…

В коридоре бьет пять часов, шесть, семь… Становится темно.

В щеке тупая боль — это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком нумере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти

вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве» и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку… Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях — все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве…

В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.

Часов в десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь.

— Кто там?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра, — сержусь я, получая от коридорного телеграмму. — Теперь уж я не усну в другой раз.

— Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем

думать? Кажется, все уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет; жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять… Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем

пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий

вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего.

Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.

Утром коридорный приносит мне чай и нумер местной газеты. Машинально я прочитываю объявления на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику… Между прочим, в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».

Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, — и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом…

Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата.

Передо мной стоит Катя.

— Здравствуйте, — говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. — Не ожидали? Я тоже… тоже сюда приехала.

Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала… сегодня… Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.

— Очень рад видеть тебя, — говорю я, пожимая плечами, — но я удивлен… Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?

— Я? Так… просто взяла и приехала.

Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.

— Николай Степаныч! — говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. — Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я. — Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю вас! — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. — Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она

закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

— Помогите мне! Помогите! — умоляет она. — Не могу я дольше!

Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн…».

— Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. — Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?

— По совести, Катя: не знаю…

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будет плакать!

И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:

— Меня скоро не станет, Катя…

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачет

она, протягивая ко мне руки. — Что мне делать?

— Чудачка, право… — бормочу я. — Не понимаю! Такая умница, и вдруг — на тебе! расплакалась…

Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку — и все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово… Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я.

— Нет, благодарю, — отвечает она холодно.

Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Харьков, — говорю я. — Серо уж очень. Какой-то серый город.

— Да, пожалуй… Некрасивый… Я ненадолго сюда… Мимоездом. Сегодня же уеду.

— Куда?

— В Крым… то есть на Кавказ.

— Так. Надолго?

— Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей… Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги… Прощай, мое сокровище!

1889

Дуэль

I

Было восемь часов утра — время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лет двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.

С большой стриженой головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устра-

ивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.

— Ответь мне, Александр Давидыч, на один вопрос, — начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. — Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

— Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны — и разговор весь.

— Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет…

— Что ж? Единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесячно — и никаких. Очень

просто.

— Допустим, что у тебя есть и пятьсот и двадцать пять помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?

Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.

— Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. — Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Ему вдруг стало стыдно своих слов; он спохватился и сказал:

— А по мне, хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему!

Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку;

он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились маслеными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

— Удивительно великолепный вид!

После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.

— Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор, — сказал он. — Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи… очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу.

— Я прожил с нею два года и разлюбил… — продолжал Лаевский, — то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было… Эти два года были — обман.

У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони,

грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.

— Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, — сказал он, — но говорю тебе, потому что для нашего брата неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее… В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал:

— Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры…

— Боже мой, — вздохнул Лаевский, — до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже… Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы… Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но

лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить, потом же на просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка… С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике — ни к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не инте-

ресно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папильотки каждое утро и тот же самообман…

— Без утюга нельзя в хозяйстве, — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. — Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшего ума человек… Конечно, вы не венчаны, — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы, — но ведь это не ваша вина, и к тому же… надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да… Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти.

— Без любви?

— Я тебе сейчас объясню, — сказал Самойленко. — Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение…

— Ты веришь своему старичку агенту, для меня же его совет — бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений, но я еще не пал так низко; если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое.

Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

— Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

— Это, как бы тебе объяснить… такая болезнь, когда мозги становятся мягче… как бы разжижаются.

— Излечимо?

— Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка… Ну, внутрь чего-нибудь.

— Так… Так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу: это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один

месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее… Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не придумаешь… Ну вот, скажи: что делать?

— М-да… — промычал Самойленко, не зная, что ответить. — Она тебя любит?

— Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.

Самойленко сконфузился.

— Ты сегодня, Ваня, не в духе, — сказал он. — Не спал, должно быть.

— Да, плохо спал… Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то… Бежать надо!

— Куда?

— Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям… Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохоньким студентом и болтать, болтать… А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь

в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд…

Лаевский засмеялся от удовольствия, на глазах у него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.

— А я уже восемнадцать лет не был в России, — сказал Самойленко. — Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.

— У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне

простить этой связи.

Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной — и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной — всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.

— Еще одна подробность, — сказал Лаевский, встряхивая головой. — Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней… Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.

— Царство небесное… — вздохнул Самойленко. — Почему же ты от нее скрываешь?

— Показать ей это письмо значило бы: по-

жалуйте в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.

— Знаешь что, Ваня? — сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. — Женись, голубчик!

— Зачем?

— Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!

— Но пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню не веруя.

— Но ты обязан!

— Почему же я обязан? — спросил с раздражением Лаевский.

— Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.

— Но тебе говорят русским языком: я не люблю!

— Ну, любви нет, так почитай, ублажай…

— Почитай, ублажай… — передразнил Лаевский. — Точно она игуменья… Плохой ты

психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.

— Ваня, Ваня… — сконфузился Самойленко.

— Ты — старый ребенок, теоретик, а я — молодой старик и практик, и мы никогда не поймем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа! — крикнул Лаевский человеку. — Сколько с нас следует?

— Нет, нет… — испугался доктор, хватая Лаевского за руку. — Это я заплачу. Я требовал. Запиши за мной! — крикнул он Мустафе.

Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощанье пожали друг другу руки.

— Избалованы вы очень, господа! — вздохнул Самойленко. — Послала тебе судьба женщину, молодую, красивую, образованную — и ты отказываешься, а мне бы дал бог хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и…

Самойленко спохватился и сказал:

— И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.

Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы — честный и гостеприимный народ. «Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, — думал он, — очень странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.

— Марья Константиновна, доброе утро! — крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. — Купаться ходили? Ха-ха-ха… Почтение Никодиму Александрычу!

И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и

спросил:

— Есть кто-нибудь в лазарете?

— Никого, ваше превосходительство.

— А?

— Никого, ваше превосходительство.

— Хорошо, ступай…

Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:

— Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!

II

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и все, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он подумал, что питье кофе — не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, и читает для того, чтобы казаться умной.

— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.

— Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю…

— Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор

не рассердился.

— Ну и спроси у доктора. Я не доктор.

На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли все об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей

идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит все, что ему нужно.

— Бежать! — пробормотал он, садясь и грызя ногти. — Бежать!

Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится в поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва… В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь… Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами, вот милое серое

небо, моросящий дождик, мокрые извозчики…

— Иван Андреич! — позвал кто-то из соседней комнаты. — Вы дома?

— Я здесь! — отозвался Лаевский. — Что вам?

— Бумаги!

Лаевский поднялся лениво, с головокружением, и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казенные бумаги.

— Сейчас, голубчик, — мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу; вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал: — Жарко!

— Да-с. Вы придете сегодня?

— Едва ли… Нездоровится что-то. Скажите, голубчик, Шешковскому, что после обеда я зайду к нему.

Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать:

«Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет… Это, конечно, неважно; часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, На-

дежда Федоровна… Прежде всего надо выяснить наши отношения… Да».

Немного погодя он соображал: не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?

«Пойти можно, — думал он, — но какая польза от этого? Опять буду говорить ему некстати о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут, черт подери, могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, — это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! — бормотал он, садясь. — Бежать!»

Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен; быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Кто знает! Если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно,

если даровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека все честно.

В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:

— Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

— Капусты нет.

— Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи, один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка.

Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор, как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой.

— Этот суп похож вкусом на лакрицу, — сказал он, улыбаясь; он делал над собою усилия, чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал: — Никто у нас не смотрит за хозяйством… Если уж ты так больна или занята чтением, то,

изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она ответила бы ему: «Займись» или «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», — но теперь только робко взглянула на него и покраснела.

— Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? — спросил он ласково.

— Сегодня ничего. Так, только маленькая слабость.

— Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни он видел ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и

была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.

— Mercі, голубка, — сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб.

Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал:

— Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать!

Он лег на диван и опять вспомнил, что муж

Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине.

— Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо, — убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. — Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена — меня?

Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шешковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво.

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, — думал Лаевский дорогой. — Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!»

III

Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по двенадцать рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам.

Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах; Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, ве-

личайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волоса, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее, в сенях, Самойленко, без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготовляя салат, или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно таращил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом,

то ложкой.

— Подай уксус! — приказывал он. — То бишь не уксус, а прованское масло! — кричал он, топая ногами. — Куда же ты пошел, скотина?

— За маслом, ваше превосходительство, — говорил оторопевший денщик надтреснутым тенором.

— Скорее! Оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтоб она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налезут!

И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось десять или пятнадцать минут, приходил дьякон, молодой человек лет двадцати двух, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.

— Здравствуйте, — холодно говорил зоолог. — Где были?

— На пристани бычков ловил.

— Ну конечно… По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом.

— Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет, — говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.

— Бить вас некому! — вздыхал зоолог.

Проходило еще пятнадцать-двадцать минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как Самойленко кричал:

— Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец дверь отворялась и замученный денщик объявлял: «Кушать готово!» В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке и, только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, маслеными… Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:

— За здоровье молодого поколения!

После разговора с Лаевским Самойленко все время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть; ему было жаль Лаевского и

хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:

— Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человеку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное — психология одолела. Жаль парня.

— Вот уж кого мне не жаль! — сказал фон Корен. — Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони…

— Неправда. Ты бы этого не сделал.

— Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же способен на доброе дело, как и ты.

— Разве утопить человека — доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся.

— Лаевского? Да.

— В окрошке, кажется, чего-то недостает… — сказал Самойленко, желая переменить разговор.

— Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, — продолжал фон Корен. — Утопить его — заслуга.

— Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу — глупо, а считать своим

ближним во что бы то ни стало всякого встречного без различия — это, покорно благодарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему, как к мерзавцу, с полною моею добросовестностью. Ну, а ты считаешь его своим ближним — и поцелуйся с ним; ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

— Называть человека мерзавцем! — пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

— О людях судят по их поступкам, — продолжал фон Корен. — Теперь судите же, дьякон… Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и под-

ростки; во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова номер двадцать один. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером; он живет с чужой женой открыто. В-четвертых…

Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку.

— Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства, — продолжал он, обращаясь к дьякону. — Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски; к тому же они болтливы и им нужны слушатели. Мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто

тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает, — и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или «Мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом — ловкая штука! — распутен, лжив и гадок не он один, а мы... «мы люди восьмидесятых годов», «мы вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»... Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность

составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он — роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

— Замолчи! — вспыхнул Самойленко. — Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

— Не перебивай, Александр Давидыч, — холодно сказал фон Корен. — Я сейчас кончу. Лаевский — довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и la femme.[12] Существование его заключено в эту

[12] Примечания: 12
Женщина (*франц.*).

тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется — все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что тринадцати лет он уже был влюблен; будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. На втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою… как ее?.. замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами якобы… Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.

— А ты почем знаешь? — проворчал Самойленко, со злобой глядя на зоолога. — Ешь-ка лучше.

Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим нахлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании.

— Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека, — сказал дьякон. — Ничего не поделаешь.

— Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она — всё, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней, — счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован — от женщины; жизнь опостылела — женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы — и тут ищи женщину… Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте: когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте,

он сидит в стороне, молчит и не слушает; вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца, — глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется, и человек оживает, одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышенны или безразличны они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла… «Скажите, пожалуйста, спрашивает, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой…

Дьякон звонко захохотал; Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.

— И все врет! — сказал он, вытирая слезы. — Ей-богу, врет!

IV

Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упаду. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

— Это развращенный и извращенный субъект, — продолжал зоолог, а дьякон, в ожидании смешных слов, впился ему в лицо. — Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.

Дьякон опять захохотал.

— Не смейтесь, дьякон, — сказал фон Корен, — это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания

на его ничтожество, — продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать, — я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два и — он завоюет все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, В университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый малый, душа-человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям; он сговорчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и поскверносло-вить, и посудачить… Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех божков, которые имеют такие

же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! К тому же он недурной актер и ловкий лицемер и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!» Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена о́ны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой… А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну что, брат, Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость,

может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, — сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. — Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек… Так вот он говаривал…

— Полно, полно! — перебил зоолог. — Ты говоришь: он служит. Но как служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного, университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает он исправен двадцатого числа, когда получает жалованье, в остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидыч, не вступайся за него. Ты неискренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его

слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

— То есть?

— Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом…

Фон Корен провел пальцем около своей шеи.

— Или утопить, что ли… — добавил он. — В интересах человечества, в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

— Что ты говоришь?! — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Дьякон, что он говорит? Да ты в своем уме?

— Я не настаиваю на смертной казни, — сказал фон Корен. — Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы…

— Что ты говоришь? — ужаснулся Самойленко. — С перцем, с перцем! — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. — Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! Нашего друга, гордого, интеллигентного человека, отдавать в общественные работы!!

— А если горд, станет противиться — в кандалы!

Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами; дьякон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал.

— Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

— Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко, с тех пор как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило

от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

— Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить.

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатой спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом.

Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху...», но тотчас же замолк от жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:

— Молодое поколение... Звезда науки и све-

тильник церкви… Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать… Что ж… дай бог…

Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.

— Вы опять на пристань бычков ловить? — спросил зоолог.

— Нет, жарковато.

— Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати, потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.

— Ваши слова справедливы и логичны, — сказал дьякон, — но леность моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли.

— Все вздор, — сказал зоолог. — И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.

V

Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках, ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.

«Сегодня воскресенье!» — с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом, праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит

только двадцать два рубля, а между тем так мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно-вежлив и временами даже дерзок и груб; на все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом, теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бранил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватою перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков

и раздавать им книжки; оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Лаевский не торопился приобретать участок; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Он молчал, думала она, значит, сердился на нее за то, что она молчит.

Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг.

— Сегодня же скажу ему об этом… — решила она, но тотчас же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах.

В-третьих, она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кирилина, полицейского пристава: раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мыслей. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные то-

мительные вечера, душные ночи, и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, — сделали то, что ею мало-помалу овладели желания и она как сумасшедшая день и ночь думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание; шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота — то же, горы — то же… И когда Кирилин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться и отдалась ему…

Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу; вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски.

Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала: она продолжала любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и

скучает, когда он не бывает дома. Кирилин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним все уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит.

На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму, Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее пятнадцатилетнюю дочь Катю, гимназистку; обе они сидели на лавочке и раздевались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До тридцати двух лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.

— Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. — Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе — это очаровательно!

Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню.

— Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли? — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. — Вчера я едва не умерла от духоты!

— О да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза… представьте, милая, три раза! Даже Никодим Александрыч беспокоился.

«Ну, можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «Девочка недурно сложена».

— Ваш Никодим Александрыч очень, очень мил! — сказала она. — Я в него просто влюблена.

— Ха-ха-ха! — принужденно засмеялась Марья Константиновна. — Это очаровательно!

Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Ма-

рья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и, чтобы поднять себя в их мнении, она сказала:

— У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых! Надо бы съездить повидаться.

— Ваш муж, кажется, инженер? — робко спросила Марья Константиновна.

— Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая…

Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду; за нею полезли Марья Константиновна и Катя.

— У нас в свете очень много предрассудков, — продолжала Надежда Федоровна, — и живется не так легко, как кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткою в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала:

— О да! Верите ли, милая, у Гаратынских и к завтраку и к обеду требовался непременно туалет, так что я, точно актриса, кроме жалованья, получала еще и на гардероб.

Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды,

которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни.

— Мама, это наш Костя! — сказала Катя.

— Ах, ах! — закудахтала Марья Константиновна в испуге. — Ах! Костя, — закричала она, — вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчик лет четырнадцати, чтобы похвастать своею храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы.

— Беда с этими мальчиками, милая! — сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. — Того и гляди свернет себе шею. Ах, милая, как приятно и в то же время как тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город, и все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить… Мимо нее быстро, энергически разрезывая волны и воздух,

пронеслась парусная лодка; мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят…

Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе.

— У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купанья губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. — Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнела.

— Это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

— Ничего, высохнет.

Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять в груди у нее заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина…

Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть.

— Зайдите, моя дорогая! — сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой: авось откажется и не зайдет!

— С удовольствием, — согласилась Надежда Федоровна. — Вы знаете, как я люблю бывать у вас!

И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц — барышень Гаратынских, которые уже повыходили замуж, показала также экзаменационные отметки Кати и Кости; отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии… Она ухаживала за гостьей и в то же время жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александрыча не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят «таких», то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник и что фон Корен убедительно просил не

говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении:

— Надеюсь, и вы будете!

VI

Условились ехать за семь верст от города по дороге к югу, остановиться около духана, при слиянии двух речек — Черной и Желтой, и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех, в шарабане, ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя; при них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кирилин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна триста рублей, и против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрыч, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и дьякон; у дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.

— Пррава! — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле.

— Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию, — рассказывал фон Корен дьякону. — Я пройду

берегом от Владивостока до Берингова пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит, поехать со мною или нет.

— Это невозможно, — сказал дьякон.

— Почему?

— Я человек зависимый, семейный.

— Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее, для общей пользы, постричься в монахини; это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это.

Дьякон молчал.

— Вы свою богословскую часть хорошо знаете? — спросил зоолог.

— Плоховато.

— Гм… Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников; между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче

будет приступить к делу. Ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту, ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Все это необходимо.

— Так-то так… — пробормотал дьякон и засмеялся. — Я просил себе места в средней России, и мой дядя-протоиерей обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил.

— Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным дьяконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни почивать от дел, вы и через десять лет останетесь все таким же, какой вы теперь, и прибавятся у вас разве только усы и бородка, тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же десять лет вы будете другим человеком, вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано.

Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море, налево — была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корне-

вищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех: пришлось ехать под громадным нависшим камнем.

— Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами, — сказал Лаевский. — Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник.

— А ты посмотри, какая панорама! — сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево и открылась долина Желтой речки и блеснула сама речка — желтая, мутная, сумасшедшая…

— Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего, — ответил Лаевский. — Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дрянь и больше ничего.

Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем; каменистая гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора

местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло на ехавших влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.

— Ах, проклятые горы, — вздыхал Лаевский, — как они мне надоели!

В том месте, где Черная речка впадала в Желтую и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»; около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи и среди жалкого колючего кустарника возвышался один-единственный кипарис, красивый и темный.

Кербалай, маленький, юркий татарин, в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.

— Здорово, Кербалайка! — крикнул ему Самойленко. — Мы отъедем немножко дальше, а ты

тащи туда самовар и стулья! Живо!

Кербалай кивал своей стриженой головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать: «Есть форели, ваше превосходительство».

— Тащи, тащи! — сказал ему фон Корен.

Отъехав шагов пятьсот от духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сидения, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьих ножках; от ее двери вниз спускалась лесенка.

Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая кривая долина Черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река и без умолку кричали цикады.

— Очаровательно! — сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдыхания от восторга. — Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!

— Да, в самом деле хорошо, — согласился Лаевский, которому понравился вид и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходивший из трубы духана, вдруг стало грустно. — Да, хорошо! — повторил он.

— Иван Андреич, опишите этот вид! — сказала слезливо Марья Константиновна.

— Зачем? — спросил Лаевский. — Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде.

— Будто бы? — холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. — Будто бы? — повторил он, глядя в упор на Лаевского. — А Ромео и Джульетта? А, например, Украинская ночь Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться.

— Пожалуй… — согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить. — Впрочем, — сказал он немного погодя, — что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая, поэти-

ческая, святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все.

— О чем с вами ни заговоришь, вы все сводите к…

Фон Корен оглянулся на Катю и не договорил.

— К чему я свожу? — спросил Лаевский.

— Вам говоришь, например, «как красива кисть винограда!», а вы: «да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках». К чему это говорить? Не ново и… вообще странная манера.

Лаевский знал, что его не любит фон Корен, и потому боялся его и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.

— Господа, марш за хворостом для костра! — скомандовал Самойленко.

Все разбрелись куда попало, и на месте остались только Кирилин, Ачмианов и Никодим Александрыч. Кербалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кирилин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своею горделивою осанкою, важной

походкой и густым, несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.

— Ты что же это, скотина, принес? — спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово. — Я приказывал тебе подать кварели, а ты что принес, татарская морда? А? Кого?

— У нас много своего вина, Егор Алексеич, — робко и вежливо заметил Никодим Александрыч.

— Что-с? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принести десять бутылок кварели!

— Для чего так много? — удивился Никодим Александрыч, знавший, что у Кирилина не было денег.

— Двадцать бутылок! Тридцать! — крикнул Кирилин.

— Ничего, пусть, — шепнул Ачмианов Никодиму Александрычу, — я заплачу.

Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем деше-

вом платье из ситчика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах духана блеснул огонек, она по тропинке, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра; он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко, с медно-красным лицом, хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо:

— Где же соль, господа? Небось забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопочи?

На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрыч и задумчиво

смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне; на другой стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение.

Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг.

«Боже мой, как хорошо! — подумал он. — Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево — ничего больше, но как хорошо!»

На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Оттого, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу, а видны были по частям то мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны

углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиною к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню… Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ним через десять лет, когда он вернется из экспедиции: он — молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым; его посвящают в архимандриты, потом в архиереи; он служит в кафедральном соборе обедню; в золотой митре, с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с небесе, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святый боже…»

— Дьякон, где же рыба? — послышался голос

Самойленка.

Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход; впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы, за ними мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах, потом, по порядку, он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек; тут же в толпе попадья и дьяконица в платочках. Поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворонок… Вот остановились и покропили святой водой стадо… Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры…

«И это тоже хорошо…» — подумал дьякон.

VII

Кирилин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кирилин подошел к Надежде Федоровне.

— Добрый вечер! — сказал он, делая под козырек.

— Добрый вечер.

— Да-с! — сказал Кирилин, глядя на небо и думая.

— Что — да-с? — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими.

— Итак, значит, — медленно выговорил офицер, — наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?

— Это была ошибка! Оставьте меня! — сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный, чудесный вечер глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении: неужели в самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок?

— Так-с! — сказал Кирилин; он молча постоял немного, подумал и сказал: — Что ж? Подождем, когда вы будете в лучшем настроении, а пока смею вас уверить, я человек порядочный и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu![13]

Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя нерешительно подошел Ачмианов.

— Хороший вечер сегодня! — сказал он с легким армянским акцентом.

Он был недурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.

— Вообще пикник удался, — сказал он, помолчав.

— Да, — согласилась она и, как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: — Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреич и заплатит там триста… или не

---

[13] Примечания: 13
Прощайте! (*франц.*).

помню сколько.

— Я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?

Надежда Федоровна засмеялась; ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Как бы это, в сущности, было смешно, нелепо, дико! И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.

— Позвольте дать вам один совет, — робко сказал Ачмианов. — Прошу вас, остерегайтесь Кирилина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи.

— Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак, — сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым, хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.

— Надо вниз идти, — сказала она. — Зовут.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках; и все находили,

что уха очень вкусна и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, и кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кирилина.

— Роскошный пикник, очаровательный вечер, — сказал Лаевский, веселея от вина, — но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник».

— У всякого свой вкус, — заметил фон Корен.

Лаевский почувствовал неловкость: в спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо — ненависть фон Корена; эта ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном:

— Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам.

— Ну, а я не жалею и не завидую, — сказала Надежда Федоровна. — Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.

Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы (он почему-то воображал ее в виде устрицы) берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей:

— Дело не в козявках, а в выводах!

VIII

Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели, и недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали вперегонки и хохотали.

— Господа, поскорей! — крикнул им Самойленко.

— Не следовало бы дамам давать вино, — тихо сказал фон Корен.

Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу, и когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово:

— Ты ведешь себя, как… кокотка.

Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною,

села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кирилиным, зоолог с Самойленком, дьякон с дамами, и поезд тронулся.

— Вот они каковы, макаки... — начал фон Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза. — Ты слышал, она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием, но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот, там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует... И непременно критикует — рабская черта! Ты прислушайся: людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников, — это оттого, что общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работаешь.

— Не знаю, что ты хочешь! — сказал Самойленко, зевая. — Бедненькой по простоте захотелось

поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. А она прекрасная женщина!

— Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидыч, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду? Потому только, что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника?

— Что же мне с ней делать? — рассердился Самойленко. — Бить ее, что ли?

— Не льстить пороку. Мы проклинаем порок только за глаза, а это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог, или социолог, что одно и то же, ты — врач; общество нам верит; мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование госпож вроде этой Надежды Ивановны.

— Федоровны, — поправил Самойленко. — А что должно делать общество?

— Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой

и верный путь, это — насилие. Manu militari[14] ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

— Уф! — вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: — Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо… Скажи мне, если бы того… положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы… решился?

— Рука бы не дрогнула.

[14] Примечания: 14
Военною силою (*лат.*).

IX

Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Он понял, что она ждет от него объяснения; но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно, и на душе было тяжело оттого, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону.

«Пора уж выяснить отношения, — подумал он. — Дам ей; что будет, то будет».

Он вынул письмо и подал ей.

— Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

— Упокой господи… упокой господи…

И заплакала.

— Ваня! — позвала она. — Иван Андреич!

Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила:

— Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно… Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня… Я обезумела… Я пропала…

Лаевский слышал ее всхлипыванья. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.

«Это тюрьма… — подумал он. — Надо уйти… Я не могу…»

Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням — большой пассажирский… Загремела якорная цепь.

От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек: это плыла таможенная лодка.

«Спят себе пассажиры в каютах…» — подумал Лаевский и позавидовал чужому покою.

Окна в доме Самойленка были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое: в комнатах было темно и тихо.

— Александр Давидыч, ты спишь? — позвал он. — Александр Давидыч!

Послышался кашель и тревожный окрик:

— Кто там? Какого черта?

— Это я, Александр Давидыч. Извини.

Немного погодя отворилась дверь; блеснул мягкий свет от лампадки, и показался громадный Самойленко, весь в белом и в белом колпаке.

— Что тебе? — спросил он, тяжело дыша спросонок и почесываясь. — Погоди, я сейчас отопру.

— Не трудись, я в окно…

Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.

— Александр Давидыч, — сказал он дрожащим голосом, — спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как… как собаку!

— Постой… Ты насчет чего, собственно?

— Зажги свечу.

— Ох, ох… — вздохнул Самойленко, зажигая свечу. — Боже мой, боже мой… А уже второй час, брат.

— Извини, но я не могу дома сидеть, — сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленка. — Ты, Александр Давидыч, мой единственный, мой лучший друг… Вся надежда на тебя. Хочешь не хочешь, бога ради выручай. Во что бы то ни стало я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы!

— Ох, боже мой, боже мой!.. — вздохнул Самойленко, почесываясь. — Засыпаю и слышу: свисток, пароход пришел, а потом ты… Много тебе нужно?

— По крайней мере рублей триста. Ей нужно оставить сто и мне на дорогу двести… Я тебе должен уже около четырехсот, но я всё вышлю… всё…

Самойленко забрал в одну руку оба бакена, расставил ноги и задумался.

— Так… — пробормотал он в раздумье. — Триста… Да… Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.

— Займи, бога ради! — сказал Лаевский, видя

по лицу Самойленка, что он хочет дать ему денег и непременно даст. — Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, — сказал он, оживляясь, — давай выпьем вина!

— Так… Можно и вина.

Оба пошли в столовую.

— А как же Надежда Федоровна? — спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками. — Она останется разве?

— Все устрою, все устрою… — сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости. — Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне… Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, друже.

— Погоди! — сказал Самойленко. — Сначала ты этого выпей… Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова… Попробуй все три сорта и скажи откровенно… Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?

— Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо… Я ожил.

— С кислотцой?

— А черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!

Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно, и Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.

— А ты, когда поедешь, с матерью помирись, — сказал он. — Нехорошо.

— Да, да, непременно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:

— Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки.

— Да, он прекраснейший, умнейший человек, — согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать. — Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет! Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная; быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня… с презрением.

Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты:

— Я отлично понимаю фон Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не

пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь; кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только один он и, как Стенли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю! Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?

— Он морскую фауну изучает.

— Нет. Нет, брат, нет! — вздохнул Лаевский. — Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные

зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Villefranche.[15] Но фон Корен самостоятелен и упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, все ему нужно, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?

— Да, — засмеялся Самойленко.

Лаевский тоже засмеялся и выпил вина.

— И идеалы у него деспотические, — сказал он,

---

[15] Примечания: 15

Вильфранш (*франц.*) — небольшой город во Франции.

смеясь и закусывая персиком. — Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали, и все это во имя улучшения человеческой породы… А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж… Деспоты всегда были иллюзионистами. Я, брат, отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значения; на таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы, при всей своей доброте и благих намерениях,

сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины. Да.

Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением:

— Я пустой, ничтожный, падший человек! Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.

Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал:

— Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской я жажду своего обновления. И, клянусь тебе, я буду человеком! Буду! Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя.

— Пора, братец, спать… — сказал Самойленко.

— Да, да… Извини. Я сейчас.

Лаевский засуетился около мебели и окон, ища

своей фуражки.

— Спасибо… — бормотал он, вздыхая. — Спасибо… Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня.

Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка.

— Александр Давидыч! — сказал он умоляющим голосом.

— Что?

— Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать!

— Сделай милость… отчего же?

Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.

X

Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении:

— Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александрычу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая… Скажите, это правда?

— Да, правда, он умер, — ответила Надежда Федоровна.

— Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нет худа без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле.

На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне бог и люди благословят

ваш союз с Иваном Андреичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашею свахой… Мы с Никодимом Александрычем так любили вас, вы позволите нам благословить ваш законный, чистый союз. Когда, когда вы думаете венчаться?

— Я и не думала об этом, — сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.

— Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

— Ей-богу, не думала, — засмеялась Надежда Федоровна. — К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили.

— Что вы говорите! — ужаснулась Марья Константиновна. — Ради бога, что вы говорите!

— Оттого, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу.

— Милая! Милая, что вы говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. — Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь!

— То есть как угомониться? Я еще не жила, а вы — угомонитесь!

Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте

и вышла за нелюбимого человека, потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном, пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь?

«А повенчаться бы следовало...» — подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачмианова, покраснела и сказала:

— Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидела молча на диване, печальная, серьезная, и глядела в одну точку, потом встала и проговорила холодно:

— Прощайте, милая! Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено и, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, дверь моего дома для вас закрыта.

Она проговорила это с торжественностью, и сама же была подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:

— Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашею матерью или старшей сестрой! Я

буду откровенна с вами, как мать.

Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.

— Милая, дитя мое, — начала Марья Константиновна, — я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас.

— Ради бога, ради бога!

— Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась, мучилась… Муж был против знакомства с ним, но я уговорила… убедила… Мы стали принимать Ивана Андреича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын… Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце… аще кто соблазнит единого из малых сих… Я принимала

вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне… ну конечно, сплетни, гипотезы… В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.

— Но почему? Почему? — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. — Что я кому сделала?

— Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь, как все. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого, но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то бог не вверил бы ей воспитания мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы

вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость; другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме божием, бледную, одетую во все черное, плачущую, и каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе…» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. Милая, не говорите, не говорите! — вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. — Доверьтесь мне, я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая… Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением.

— Да, ужасны! — продолжала Марья Константиновна. — По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведе-

нии. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала… И, простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка… милая, я краснею! Бедному Ивану Андреичу тоже никто не завяжет галстука как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы… К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано везде белье, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда… Милая! Муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик! Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрыч не заметил, что я заспанная.

— Это все пустяки, — зарыдала Надежда Федоровна. — Если бы я была счастлива, но я так несчастна!

— Да, да, вы очень несчастны! — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. — И вас ожидает в будущем страшное горе! Одинокая старость, болезни, а потом ответ на Страшном судилище… Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее венчайтесь!

— Да, надо, надо, — сказала Надежда Федоровна, — но это невозможно!

— Почему же?

— Невозможно! О, если б вы знали!

Надежда Федоровна хотела рассказать про Кирилина и про то, как она вчера вечером встретилась на пристани с молодым, красивым Ачмиановым и как ей пришла в голову сумасшедшая, смешная мысль отделаться от долга в триста рублей, ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. И ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд

мешали ей говорить.

— Я уеду, — сказала она. — Иван Андреич пусть остается, а я уеду.

— Куда?

— В Россию.

— Но чем вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет.

— Я буду переводами заниматься или… или открою библиотечку…

— Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте, а завтра приходите ко мне веселенькая. Это будет очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую.

Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать.

— Я отдам! — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. — Я отдам. Было бы глупо

думать, что я из-за денег… Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала сто… потом сто… и потом — сто…

Поздно ночью пришел Лаевский.

— Сначала сто… — сказала ему Надежда Федоровна, — потом сто…

— Ты бы приняла хины, — сказал он и подумал: «Завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы».

Надежда Федоровна поднялась в постели на колени.

— Я ничего сейчас не говорила? — спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи.

— Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи.

Он взял подушку и пошел к двери. После того как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины; ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее.

— На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, бога ради.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет, лег и

долго не мог уснуть.

Когда на другой день утром Самойленко, одетый, по случаю табельного дня, в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой:

— Ну, что? Что?

Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду.

— Успокойся, ничего опасного, — сказал Самойленко. — Обыкновенная лихорадка.

— Я не о том, — нетерпеливо поморщился Лаевский. — Достал денег?

— Душа моя, извини, — зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. — Бога ради, извини! Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по пяти да по десяти рублей — всего-навсе сто десять. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи.

— Но крайний срок суббота! — прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. — Ради всех святых, до субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно… ничего! Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги!

— Да, господи, твоя воля, — быстро и с напря-

жением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле, — у меня всё разобрали, должны мне семь тысяч, и я кругом должен. Разве я виноват?

— Значит, к субботе достанешь? Да?

— Постараюсь.

— Умоляю, голубчик! Так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были.

Самойленко сел и прописал хину в растворе kalii bromati, ревенной настойки, tincturae gentianae aquae foeniculi — все это в водной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.

XI

— У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня, — сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологию проведаю, — сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок. — Здравствуй, святой отец! — кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал. — Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора… Я вам не помешал?

— Нисколько, — ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки. — Мы перепиской занимаемся.

— Так… Ох, боже мой, боже мой… — вздохнул Самойленко; он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал: — Однако! Представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас!

— Да, полагаю.

— Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов?

— Да, защищаться и самой нападать.

— Так, так, так… И все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо, — вздохнул Самойленко. — Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу; увидел птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами; жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизывается, а навстречу ему жук. Он жука лапкой… И все он портит и разрушает на своем пути… Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток… Встретится крыса — он с ней в драку; увидит змейку или мышонка — задушить надо. И так целый день. Ну, скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?

— Я не знаю, про какого зверька ты говоришь, — сказал фон Корен, — вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну, что ж? Птица попалась ему, потому что неосторожна; он разрушил

гнездо с яйцами, потому что птица не искусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел ее, и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных — одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные и развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования.

— Да, да, да… Кстати, брат, — сказал Самойленко развязно, — дай-ка мне взаймы рублей сто.

— Хорошо. Между насекомоядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму Первому шубу из кротовых шкурок и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга.

Фон Корен отпер шкатулку и достал оттуда

сторублевую бумажку.

— У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши, — продолжал он, запирая шкатулку, — страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. Возьми же сто рублей, — сказал фон Корен, понизив тон, — но с условием, что ты берешь не для Лаевского.

— А хоть бы и для Лаевского! — вспыхнул Самойленко. — Тебе какое дело?

— Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать взаймы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.

— Да, я прошу для Лаевского! — сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. — Да! Для Лаевского! И никакой ни черт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать?

Нет?

Дьякон захохотал.

— Ты не кипятись, а рассуждай, — сказал зоолог. — Благодетельствовать господину Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу.

— А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним! — крикнул Самойленко.

— В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором! Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти сто рублей. Или пожертвуй мне сто рублей на экспедицию!

— Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?

— Ты скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

— Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать.

— Вот как! — сказал протяжно фон Корен. — Ага… Понимаем. А она с ним поедет или как?

— Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет.

— Ловко!.. — сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. — Ловко! Умно придумано.

Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил:

— Ты говори откровенно: он разлюбил? Да? Говори: разлюбил? Да?

— Да, — выговорил Самойленко и вспотел.

— Как это отвратительно! — сказал фон Корен, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. — Что-нибудь из двух, Александр Давидыч: или ты с ним в заговоре, или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя, как мальчишку, самым бессовестным образом? Ведь ясно как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на твоей шее, и ясно как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей?

— Это одни только предположения, — сказал Самойленко, садясь.

— Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продувная бестия!

Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.

— Но это невозможно! — сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. — Он так страдает!

— Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!

— Положим даже, что ты прав… — сказал в раздумье Самойленко. — Допустим… Но он молодой человек, на чужой стороне… студент, мы тоже студенты, и, кроме нас, тут некому оказать ему поддержку.

— Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!

— Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как… — соображал Самойленко, шевеля пальцами. — Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу.

— И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в

ней обеими руками!

Самойленко подумал минуту и сказал решительно:

— Но я все-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.

— И превосходно. Поцелуйся с ним.

— Так дай же мне сто рублей, — робко попросил Самойленко.

— Не дам.

Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел; лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.

— Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади, — сказал дьякон, кладя перо. — Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.

— Он хороший человек? — спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.

— А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?

— Между архиереями встречаются очень

хорошие и даровитые люди, — сказал фон Корен. — Жаль только, что у многих из них есть слабость — воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.

— Светский человек не может судить архиереев.

— Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.

— Такой, да не такой, — обиделся дьякон, принимаясь за перо. — Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой.

— Не мели, дьякон! — сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я придумал, — обратился он к фон Корену. — Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.

— Не дам.

Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.

— Вот извольте жить и дело делать с такими господами! — сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. — Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь!

Фон Корен хлопнул себя по лбу.

— Возьми! — сказал он и швырнул сторублевую бумажку.

— Напрасно ты сердишься, Коля, — кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. — Я тебя отлично понимаю, но… войди в мое положение.

— Баба ты старая, вот что!

Дьякон захохотал.

— Послушай, Александр Давидыч, последняя просьба! — горячо сказал фон Корен. — Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условие: пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее вперед, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и ска-

жи, а если не скажешь, то даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы, а с тобою знаться не буду. Так и знай!

— Что ж? Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее, — сказал Самойленко. — Он даже рад будет. Ну, прощай.

Он нежно простился и вышел, но, прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал:

— Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!

XII

На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленка:

— Ты говорил с ним?

— Нет еще.

— Смотри же, не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ! Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда.

— Если обращать внимание на каждый предрассудок, — сказал Самойленко, — то придется никуда не ходить.

— Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?

— Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты, как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут, а спроси-ка их: кто они сами?

— Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу,

и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, — разве все это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года.

Лаевский вошел в гостиную; со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:

— Извини, Александр Давидыч, мне нужно сказать тебе два слова.

Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александрыча.

— Завтра пятница… — сказал Лаевский, грызя ногти. — Ты достал, что обещал?

— Достал только двести десять. Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен.

— Слава богу!.. — вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. — Ты меня спасаешь, Александр Давидыч, и, клянусь тебе богом, своим

счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю.

— Вот что, Ваня… — сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. — Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но… почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?

— Чудак, но разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда.

— Так… Но почему бы тебе не отправить ее вперед?

— Ах, боже мой, разве это возможно? — ужаснулся Лаевский. — Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег.

«Резонно…» — подумал Самойленко, но вспомнил разговор с фон Кореном, потупился и сказал угрюмо:

— С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед, иначе… иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово…

Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном

смущении.

«Пятница… пятница, — думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. — Пятница…»

Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал:

«Пятница… пятница…»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы; он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрыч, аккуратненький, с зачесанными височками, и спросил:

— Кушайте, покорнейше прошу-с…

Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно:

— Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют…

— Мама! — стонала Катя, не зная, куда спрятаться от стыда и похвал.

Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. Закон божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах, и все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александрыча и с красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что

он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели, неужели я не уеду?»

Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел.

«Пятница… пятница… — думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш. — Пятница…»

Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет — этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи; он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо: ценою маленькой лжи он купит большую правду.

Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц,

и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству; затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной; и мать не даст ему больше пятисот рублей, — значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние, и, значит, никакого обновления не будет. Обман, и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру — например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова, но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница… — думал он. — Пятница…»

Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александрыча, и, когда скоплялось достаточно записок, Костя,

изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге.

«Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марьей Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.

«О чем же говорить? — подумала Надежда Федоровна. — Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем».

Перед тем как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, — все это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости...» Против нее за столом сидел Ачмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз; ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают

ей уступить нечистой страсти, не сегодня, так завтра, — и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание.

«Люблю, люблю, люблю», — прочла она. — Это от Ачмианова.

Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому «от неизвестного» деньги, вышитые сорочки, табак и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит.

«У вас длинный нос». — Это, должно быть, от дьякона или от Кости.

Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши, среди чужих

людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание.

«Если вы сегодня не назначите мне свидания, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». — Это от Кирилина.

XIII

Лаевский получил две записки; он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой».

«Кто бы это мог написать? — подумал он. — Конечно, не Самойленко… И не дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?»

Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вероятно, Самойленко проболтался…» — подумал Лаевский.

На другой записке тем же самым изломанным почерком с длинными хвостами и закорючками было написано: «А кто-то в субботу не уедет».

«Глупое издевательство, — подумал Лаевский. — Пятница, пятница…»

Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех.

— Ха-ха-ха! — захохотал он. — Ха-ха-ха! — «Чему это я?» — подумал он. — Ха-ха-ха!

Он попытался удержать себя, закрыл рукою рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Как это, однако, глупо! — думал он, покатыва-

ясь со смеху. — Я с ума сошел, что ли?»

Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались, и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное, испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и гадливости, и понял, что с ним истерика.

«Какое безобразие, какой стыд, — думал он, чувствуя на лице теплоту от слез… — Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было…»

Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь; вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал.

— Ничего, ничего… — говорил Самойленко. — Это бывает… Это бывает…

Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала:

— Что с тобой? Что? Ради бога, говори…

«Не написал ли ему чего-нибудь Кирилин?» — думала она.

— Ничего… — сказал Лаевский, смеясь и плача. — Уйди отсюда… голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения; значит, он ничего не знает; Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную.

— Не волнуйтесь, милая! — сказала ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. — Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь переживаете кризис… это так понятно! Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим.

— Нет, не будем говорить… — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. — У меня тоска… Позвольте мне уйти.

— Что вы, что вы, милая! — испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с богом.

— У меня тоска… — прошептала Надежда Федоровна и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла.

— У него родимчик! — сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел.

Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал:

«Срам, разревелся, как девчонка! Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом… Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку…»

Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную.

— А вот и я! — сказал он, улыбаясь: ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. — Бывают же такие истории, — сказал он, садясь. — Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку… невыносимую, нервы не выдержали, и… и вышла такая глупая штука. Наш нервный век, ничего не поделаешь!

За ужином он пил вино, разговаривал и изредка, судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это.

В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кирилин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела

от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кирилин или Ачмианов, или оба вместе. Кирилин шел сзади, рядом с Никодимом Александрычем, и напевал вполголоса:

— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!

С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится.

XIV

— Однако мне пора винтить… Меня ждут, — сказал Лаевский. — Прощайте, господа.

— И я с тобой, погоди, — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку.

Они простились с обществом и пошли. Кирилин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.

«Что будет, то будет… — думала Надежда Федоровна. — Пусть…»

Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. «Если Кирилин, — думала она, — сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кирилин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его безвозвратно — кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статен и высок ростом, в

два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, — думала она теперь, — он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?»

— Тут, голубка, я с тобой прощусь, — сказал Лаевский, останавливаясь. — Тебя проводит Илья Михайлыч.

Он поклонился Кирилину и быстро пошел поперек бульвара, прошел через улицу к дому Шешковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой.

— Позвольте мне объясниться с вами, — начал Кирилин. — Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасов или Лачкасов, Зачкасов… Я требую серьезного внимания!

У Надежды Федоровны сильно забилось сердце. Она ничего не ответила.

— Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством, — продолжал Кирилин, — теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-армянином, но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам…

— У меня тоска… — сказала Надежда Федоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— У меня тоже тоска, но что же из этого следует?

Кирилин помолчал немного и сказал отчетливо, с расстановкой:

— Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал.

— Отпустите меня сегодня, — сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса, до такой степени он был жалобен и тонок.

— Я должен проучить вас… Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с, к сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания: сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра.

Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась.

— Отпустите меня! — шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя. — Вы правы, я ужасная женщина… я виновата, но отпустите… Я вас прошу… — она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула, — я вас умоляю…

— Увы! — вздохнул Кирилин. — Увы! Не в моих планах отпускать вас, я только хочу проучить

вас, дать понять, и к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.

— У меня тоска…

Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить все и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой…

— Только не у меня дома… — сказала она холодно. — Уведите меня куда-нибудь.

— Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее.

— Где это?

— Около старого вала.

Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она, как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кирилин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся.

«Он пьян… — подумала Надежда Федоровна. — Все равно… все равно… Пусть».

Ачмианов тоже скоро простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел

к ее дому и посмотрел через палисадник: окна были открыты настежь, огня не было.

— Надежда Федоровна! — позвал он.

Прошла минута. Он опять позвал.

— Кто там? — послышался голос Ольги.

— Надежда Федоровна дома?

— Нету. Еще не приходила.

«Странно… Очень странно, — подумал Ачмианов, начиная чувствовать сильное беспокойство. — Она пошла домой…»

Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шешковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.

— Странно, странно… — пробормотал Ачмианов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. — Если она не дома, то где же?

Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна.

«Это обман, обман…» — думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Битюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.

Окна в том доме, где жил Кирилин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой и спал.

Ачмианову, когда он посмотрел на окна и на городового, стало все ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды.

В городской церкви били часы только два раза в сутки: в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, послышались торопливые шаги.

— Значит, завтра вечером опять у Мюридова! — услышал Ачмианов и узнал голос Кирилина. — В восемь часов. До свиданья-с!

Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертою, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом.

Лаевский вернулся домой в третьем часу.

XV

Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день, во втором часу, пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, думал он, то можно будет согласиться на них и взять деньги, а завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать; с вечера ее можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корена, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе или даже на паруснике, в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.

Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал

мужчин в цилиндрах и дам в чепцах.

«Как некстати, — подумал Лаевский, увидев его. — Он может помешать».

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил фон Корен, не глядя на него.

— Александр Давидыч дома?

— Да. В кухне.

Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил:

— Как вы себя чувствуете после вчерашнего?

— Превосходно, — ответил Лаевский, краснея. — В сущности, ведь ничего не было особенного…

— До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта.

Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал:

«Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело…»

— Да, смешная была история, — сказал он, про-

должая улыбаться. — Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами, что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу…

Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки.

— Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка, и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье… отсутствие людей и общих интересов… Положение хуже губернаторского.

— Да, ваше положение безвыходно, — сказал фон Корен.

Эти спокойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошеное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил

вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и гадливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь:

— А вам откуда известно мое положение?

— Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь что о вас.

— Какие друзья? Самойленко, что ли?

— Да, и он.

— Я попросил бы Александра Давидыча и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться.

— Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.

— Я не понимаю вашего тона… — пробормотал Лаевский; его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним и что зоолог самый злейший и непримиримый враг его. — Приберегите этот тон для кого-нибудь другого, — сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.

Вошел Самойленко, без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты.

— А, ты здесь? — сказал он. — Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори: обедал?

— Александр Давидыч, — сказал Лаевский, вставая, — если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны.

— Что такое? — удивился Самойленко.

— Если у тебя нет денег, — продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, — то не давай, откажи, но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу! Можешь хвастать своими благодеяниями, сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны!

— Какие тайны? — спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться. — Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь!

Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до ста и успокоишься; и он начал быстро считать.

— Прошу вас обо мне не заботиться! — продолжал Лаевский. — Не обращайте на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать! Да, я делаю долги,

пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошл, не так глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность!

— Ты, братец, извини, — сказал Самойленко, сосчитав до тридцати пяти, — но…

— Уважайте личность! — перебил его Лаевский. — Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские… к черту! Мне дают деньги взаймы и предлагают условия, как мальчишке! Меня третируют, как черт знает что! Ничего я не желаю! — крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. «Значит, в субботу я не уеду», — мелькнуло у него в мыслях. — Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не мальчишка и не сумасшедший и прошу снять с меня этот надзор!

Вошел дьякон и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своею странною речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери как вкопанный.

— Постоянные заглядывания в мою душу, — продолжал Лаевский, — оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство!

Довольно!

— Что ты… что ты сказал? — спросил Самойленко, сосчитав до ста, багровея и подходя к Лаевскому.

— Довольно! — повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.

— Я русский врач, дворянин и статский советник! — сказал с расстановкой Самойленко. — Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! — крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове. — Замолчать!

Дьякон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.

— Извольте взять ваши слова назад! — крикнул Самойленко.

Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал:

— Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я

хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!

— Теперь понятно, — сказал фон Корен, выходя из-за стола. — Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить вам это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов.

— Вызов? — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. — Вызов? Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!

— Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.

— Ненавижу! — говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. — Давно ненавижу! Дуэль! Да!

— Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, — сказал фон Корен. — Он меня укусит.

Покойный тон фон Корена охладил доктора; он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом:

— Друзья мои… хорошие, добрые… Погорячились, и будет… и будет… Друзья мои…

Услышав мягкий, дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное, как будто его чуть было не раздавил поезд; он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты.

«Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде, — боже мой, как это тяжело! — думал он немного погодя, сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. — Как это грубо, боже мой!»

Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное, надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная, заворочалась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он вспомнил в мельчайших подробностях все происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому не известных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте и о котором в Петербурге не знает ни

один порядочный человек. Если бы этот городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такою же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корена или оставить его в живых — это все равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам.

Лаевский пошел к Шешковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты; потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись; Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем.

— Надо этого господина проучить... — говорил он.

После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда

нельзя обойтись. Например, в данном случае: ведь не подашь же на фон Корена мировому! И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем; это был страх перед чем-то неизвестным, что должно случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающей ночью… Он знал, что ночь будет длинная, бессонная и что придется думать не об одном только фон Корене и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти и обойти которую у него не было сил и уменья. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно; он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шешковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корену, чтобы поговорить насчет дуэли.

Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден.

— А я вас ищу, Иван Андреич! — сказал он. — Прошу вас, пойдемте скорее…

— Куда?

— Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами… Для него это все равно как жизнь или смерть…

Волнуясь, Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

— Кто он такой? — спросил Лаевский.

— Он просил не говорить его имени.

— Скажите ему, что я занят. Завтра, если угодно…

— Как можно! — испугался Ачмианов. — Он хочет сказать вам такое очень важное для вас… очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

— Странно… — пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие это тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. — Странно, — повторил он в

раздумье. — Впрочем, пойдемте. Все равно.

Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком.

— Как это скучно, — сказал Лаевский.

— Сейчас, сейчас… Близко.

Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику…

— Это дом Мюридова, что ли? — спросил Лаевский.

— Да.

— Но зачем мы идем задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Там ближе…

— Ничего, ничего…

Лаевскому показалось также странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать.

— Сюда, сюда… — сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках. — Тише, тише, прошу вас… Могут услышать.

Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шепотом:

— Отворите вот эту дверь и войдите… Не бойтесь.

Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча.

— Кого нужно? — спросил кто-то в соседней комнате. — Ты, Мюридка?

Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, а рядом с ним Надежду Федоровну.

Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корену и беспокойство — все исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по гладкому. Дома, в кабинете, он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол…

XVI

— Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний, это, конечно, учение Христа, но посмотрите, как даже оно различно понимается! Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных: первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатный, или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь — отдавайте; если кретины идут войной на физически и умственно здоровых — подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства,

если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле. Толкований очень много, а если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них, и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву; этим вы только отдаляетесь от решения вопроса.

Дьякон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил:

— Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его бог создал вместе с телом?

— Не знаю. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно.

— Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

— Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скудно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж? Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и уменья обезвредить их, то есть уничтожить.

— Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

— Несомненно.

— Но ведь сильные распяли господа нашего Иисуса Христа! — сказал горячо дьякон.

— В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел — в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних. То же самое происходит теперь и с человечеством: слабые гнетут сильных. У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идет впереди; он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостает… И это «что-то» мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумениям.

— Но какой у вас есть критериум для различения сильных и слабых?

— Знание и очевидность. Бугорчатных и золотушных узнают по их болезням, а безнрав-

ственных и сумасшедших по поступкам.

— Но ведь возможны ошибки!

— Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

— Это философия, — засмеялся дьякон.

— Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза черту прямо, и если он черт, то и говорите, что это черт, а не лезьте к Канту или к Гегелю за объяснениями.

Зоолог помолчал и продолжал:

— Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо и нелепо, что дуэль уже отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем, по существу, не отличается от пьяной драки в кабаке, а все-таки мы не остановимся, поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война — это разбой, варварство, ужас, братоубийство, мы без обморока не можем видеть крови; но стоит только французам или немцам оскорбить

нас, как мы тотчас же почувствуем подъем духа, самым искренним образом закричим «ура» и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружие благословение божие, и наша доблесть будет вызывать всеобщий, и притом искренний, восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите: «Ах, глупо! ах, устарело! ах, не согласно с Писанием!», а глядите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит и греет его во имя любви и Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой! — засмеялся дьякон. — В Христа же вы не веруете, зачем же вы его так часто

упоминаете?

— Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ах, дьякон, дьякон! — засмеялся зоолог; он взял дьякона за талию и сказал весело: — Ну, что ж? Поедем завтра на дуэль?

— Сан не позволяет, а то бы поехал.

— А что значит — сан?

— Я посвященный. На мне благодать.

— Ах, дьякон, дьякон, — повторил фон Корен смеясь. — Люблю я с вами разговаривать.

— Вы говорите — у вас вера, — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да… Вера горами двигает.

Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу.

— Так-то… — продолжал он. — Вот вы всё учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и все остается на своем месте; а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом

пролепечет одно только слово, или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас все вверх торамашкой, и в Европе камня на камне не останется.

— Ну, это, дьякон, на небе вилами писано!

— Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени, и больше ничего.

На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и зоолога и подошел к ним.

— Кажется, все готово, — сказал он, запыхавшись. — Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заедут утром в пять часов. Наворотило-то как! — сказал он, посмотрев на небо. — Ничего не видать. Сейчас дождик будет.

— Ты, надеюсь, поедешь с нами? — спросил фон Корен.

— Нет, боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним.

Далеко над морем блеснула молния, и послышались глухие раскаты грома.

— Как душно перед грозой! — сказал фон Корен. — Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди.

— Зачем я к нему пойду? — ответил доктор,

смутившись. — Вот еще!

До захода солнца он несколько раз прошелся по бульвару и по улице в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль — остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения: завтра оба они, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился.

— Зачем я к нему пойду? — повторил Самойленко. — Не я его оскорбил, а он меня. Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную и вдруг, здорово живешь: шпион! Вот те на! Ты скажи: с чего у вас началось? Что ты ему сказал?

— Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения, а тот, кто хочет в одно и то же время быть честным и мошенником, не имеет выхода. Однако, господа, уж одиннадцать часов, а завтра нам рано вставать.

Внезапно налетел ветер; он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря.

— Шквал! — сказал дьякон. — Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку:

— Должно быть, я не буду нынче спать.

— А ты не волнуйся, — засмеялся зоолог. — Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из-за Лаевского, терять время — не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль?

— Арест, а в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет.

— В Петропавловской?

— Нет, в военной, кажется.

— Хотя следовало бы проучить этого молодца!

Позади на море сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы. Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему:

— Как бы погода не помешала нам завтра!

— Чего доброго! А дал бы бог!

— Спокойной ночи!

— Что — ночь? Что ты говоришь?

За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать.

— Ничего! — крикнул зоолог и поспешил домой.

XVII

… в уме, подавленном тоской
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Пушкин

Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина или будет влачить свое жалкое существование, она все равно погибла…

Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и все еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло, в комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений; ходил он несмело,

тыча в стороны локтями и подергивая плечами, а когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость.

Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком:

«Матушка!»

Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обесчещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все и жертвою хотя отчасти искупила страшный грех сына; но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с болонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно ее лицо, — он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово.

Во всех трех окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный, раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была

сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны. И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкали молнии.

— Гроза! — прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. — Милая гроза!

Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной, чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал...

«Что в моем прошлом не порок?» — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь свет-

лое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты.

Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу? Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалованье получал даром и служба его — это гнусное казнокрадство, за которое не отдают под суд.

Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, непошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь…

Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он

начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался все крепче опутать ее лганьем, как паутиной… Остальное доделали эти люди.

Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну; он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: «Матушка!»

Кроме матери, у него не было никого родных и близких; но как могла помочь ему мать? И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла.

— Погибла жизнь! — бормотал он, потирая руки. — Зачем же я еще жив, боже мой!..

Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она за-

катилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность — трудом, скуку — радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду вернуть опять на небо. И оттого что это невозможно, он приходил в отчаяние.

Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство гадливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или, для того чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его, или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти?

— Ехать в Петербург? — спрашивал себя Лаевский. — Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде

одинакова. Искать спасения в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и все…

Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.

— Погодите, я сейчас! — сказал им Лаевский в окно. — Я не сплю. Разве уже пора?

— Да. Четыре часа. Пока доедем…

Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье; ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню.

Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский

мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.

Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила:

— Это ты? Гроза прошла?

— Прошла.

Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом.

— Как мне тяжело! — проговорила она. — Если б ты знал, как мне тяжело! Я ждала, — продолжала она, жмурясь, — что ты убьешь меня или прогонишь из дому под дождь и грозу, а ты медлишь… медлишь…

Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек.

Когда он, выйдя из дому, садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.

XVIII

Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно, и дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки; на небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы», — думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук.

Выйдя за город, он стал видеть и дорогу, и свою палку; на черном небе кое-где показались мутные пятна и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря; оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали: уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время,

когда бог носился над хаосом.

Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но как бы то ни было, она — зрелище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал: не вернуться ли? Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше.

«Они хотя неверующие, но добрые люди и спасутся», — успокаивал он себя.

— Обязательно спасутся! — сказал он вслух, закуривая папиросу.

Какою мерою нужно измерять достоинства людей, чтобы судить о них справедливо? Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему уха. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, толь-

ко потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху! Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли.

«Откуда вы все знаете?» — спросит зоолог. «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться, тестя же кашей не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное.

Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — все показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играет

на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю; пожил он с нею меньше месяца, и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато.

«Надо ей письмишко написать...» — думал он.

Флаг на духане размок от дождя и повис, и сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов.

«Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон.

Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе... Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные

волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню.

«Славная голова! — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене. — Хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть...»

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «Лопаешь, а работать не хочешь», — не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной, — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно?

К тому же ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга…

Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шешковского и начальника почтово-телеграфной конторы.

— Стоп! — сказал Шешковский.

Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга.

— Их еще нет, — сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. — Что ж? Пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде.

Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы; с деревьев и с

кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры.

— Срамота! — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. — Знал бы, не пошел.

Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне; его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы.

«Странно… — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. — Будто старик».

— Как это невежливо с их стороны! — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. — Может быть, по-ученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал:

— Едут!

XIX

— Первый раз в жизни вижу! Как славно! — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. — Посмотрите: зеленые лучи!

На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте! — продолжал зоолог, кивнув головой секундантам Лаевского. — Я не опоздал?

За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад; по обыкновению, вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне.

Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый

раз в жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его; все это не имело никакой связи с пережитою ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.

Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.

— Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем, — сказал Шешковский. — И здесь ладно.

— Да, конечно, — согласился фон Корен.

Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:

— Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по пятнадцати рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все тридцать.

Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую,

чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.

«Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил:

— Хорошо.

Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковский подошел к ним и сказал тихо:

— Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их.

Он покраснел и продолжал:

— Вчера у меня был Кирилин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука.

— Да, нам тоже это известно, — сказал Бойко.

— Ну, вот видите ли… У Лаевского дрожат руки и всякая штука… Он и пистолета теперь не под-

нимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли… Такая чертовщина, что не глядел бы.

— Вы поговорите с фон Кореном.

— Я правил дуэли не знаю, черт их подери совсем, и знать не желаю; может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А впрочем, как ему угодно, я поговорю.

Шешковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корену, и, пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью.

— Вот что я должен вам сказать, сударь мой, — начал он, внимательно рассматривая цветы на рубахе зоолога. — Это конфиденциально… Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек, и всё.

— Да. Ну?

— Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят, как на формальность. Самолюбие, и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него

произошло несчастие. Терпеть я не могу сплетен, — Шешковский покраснел и оглянулся, — но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с… одним господином.

— Какая гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул. — Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; он отошел от Шешковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко:

— Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?

Шешковский переглянулся с офицерами и пожал плечами.

— Господа! — сказал он громко, ни к кому не обращаясь. — Господа! Мы предлагаем вам помириться!

— Покончим скорее с формальностями, — сказал фон Корен. — О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, а то время не ждет.

— Но мы все-таки настаиваем на примирении, — сказал Шешковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела; он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал: — Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга, и все. — Шешковский вытер с лица пот и продолжал: — Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа!

Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал:

— Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним.

Фон Корен обиделся.

— Очевидно, господа, — сказал он, — вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой

великодушным и рыцарем, но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за десять верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться!

Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета: один подали фон Корену, другой Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять.

— Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? — спросил фон Корен смеясь. — У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там…

— К чему тут помнить? — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. — Отмерьте расстояние — вот и все.

И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его

товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер.

Противники, при всеобщем молчании, заняли свои места.

«Кроты», — вспомнил дьякон, сидевший в кустах.

Что-то говорил Шешковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал, или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такою неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корена, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие неделикатно и невеликодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корена, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский

думал, что сейчас, слава богу, все кончится и что вот только нужно надавить покрепче собачку…

Сильно отдало в плечо, раздался выстрел, и в горах ответило эхо: пах-тах!

И фон Корен взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания.

— Доктор, — сказал зоолог, — будьте добры, не ходите, как маятник. У меня от вас мелькает в глазах.

Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского.

«Кончено!» — подумал Лаевский.

Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, — как все это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов; они не шевелились и были бледны.

«Скорей же стреляй!» — думал Лаевский и чув-

ствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть.

«Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. — Да, конечно, убью…»

— Он убьет его! — послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону…

XX

Немного погодя фон Корен и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную, мокрую одежду.

— Мне показалось, что вы хотели его убить… — бормотал он. — Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно!

— Как вы сюда попали, однако? — спросил зоолог.

— Не спрашивайте! — махнул рукой дьякон. — Нечистый попутал: иди да иди… Вот и пошел, и чуть в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, слава богу… Я весьма вами доволен, — бормотал дьякон. — И наш дедка-тарантул будет доволен… Смеху-то, смеху! А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажут: дьякон секундантом был.

— Господа! — сказал фон Корен. — Дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности.

— Как это противно природе человеческой! — вздохнул дьякон. — Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете.

— У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, — сказал фон Корен, — но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте…

— Нет, уж дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я измок и прозяб.

— Ну, как знаете, — сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. — Как знаете…

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы; он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около духана остался один только дьякон.

— Ходил духан, пил чай, — сказал он Кербалаю. — Мой хочет кушать.

Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймет его, если он

будет говорить с ним на ломаном русском языке.

— Яичницу жарил, сыр давал…

— Иди, иди, поп, — сказал Кербалай, кланяясь. — Все дам… И сыр есть, и вино есть… Кушай чего хочешь.

— Как по-татарски — бог? — спрашивал дьякон, входя в духан.

— Твой бог и мой бог все равно, — сказал Кербалай, не поняв его. — Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски — всяких людей много, а бог один.

— Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих?

— Зачем сердишься? — сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот. — Ты поп, я мусульман, ты говоришь — кушать хочу, я даю… Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного все равно. Кушай, пожалуста.

Пока в духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвестное будущее представлялось страшным, как про-

пасть, у которой не видно дна, а теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы, природа радостно улыбалась и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шешковского и вперед на две коляски, в которых сидели фон Корен, его секунданты и доктор, и ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить.

«Все кончено», — думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиною с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и

странной походки; она торопилась рассказать ему все, что с нею было… Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя…

Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

XXI

Прошло три месяца с лишним.

Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный, холодный дождь, дул норд-остовый ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в десятом часу утра, но фон Корен, выходивший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт.

К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы; но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету.

Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними

дьякон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега.

— Скорее, скорее, — торопился фон Корен. — Я боюсь, что он уйдет!

Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну, и писал.

— Я удивляюсь, — тихо сказал зоолог. — Как он скрутил себя!

— Да, удивления достойно, — вздохнул Самойленко. — Так с утра до вечера сидит, все сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего!

Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского.

— Так и не уехал отсюда, бедняга, — сказал Самойленко. — А помнишь, как он хлопотал?

— Да, сильно он скрутил себя, — повторил фон Корен. — Его свадьба, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на

его лице и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это. — Зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе: — Ты передай ему и его жене, что, когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего… и попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом.

— Ты зайди к нему, простись.

— Нет. Это неудобно.

— Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним.

Зоолог подумал и сказал:

— Это правда.

Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильич желает с тобой проститься, — сказал Самойленко. — Он сейчас уезжает.

Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.

— Я на одну минутку, — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чув-

ству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь, — подумал он, — а это глупо». — Простите, что я беспокою вас, — сказал он, входя за Лаевским в его комнату, — но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще.

— Очень рад… Покорнейше прошу, — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корен и сказал твердо:

— Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор… Правда, как вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды.

— Да, никто не знает правды… — сказал Лаевский.

— Ну, прощайте… Дай бог вам всего хорошего.

Фон Корен подал Лаевскому руку; тот пожал ее и поклонился.

— Не поминайте же лихом, — сказал фон Корен. — Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней.

— Она дома.

Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату:

— Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься.

Вошла Надежда Федоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.

— Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, — сказал фон Корен, — и пришел проститься.

Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.

«Как они, однако, оба жалки! — подумал фон Корен. — Недешево достается им эта жизнь».

— Я буду в Москве и в Петербурге, — спросил он, — не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?

— Что же? — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. — Кажется, ничего…

— Да, ничего… — сказал Лаевский, потирая руки. — Кланяйтесь.

Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.

— Какие люди! — говорил дьякон вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, — сказал он восторженно, — знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!

— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне… мне грустно.

Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре гребца.

— Однако подувает… бррр! — сказал Самойленко. — В море, должно быть, теперь штормяга — ой, ой! Не в пору ты едешь, Коля.

— Я не боюсь морской болезни.

— Не в том… Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать. Где агентская шлюпка? — крикнул он гребцам.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили? — рассердился Самойленко. — Остолопы!

— Все равно, не волнуйся… — сказал фон Корен. — Ну, прощай. Храни вас бог.

Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.

— Не забывай же, Коля… Пиши… Будущей весной ждать будем.

— Прощайте, дьякон, — сказал фон Корен, пожимая дьякону руку. — Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте.

— Да, господи, хоть на край света! — засмеялся дьякон. — Разве я против?

Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.

— Пиши! — крикнул ему Самойленко. — Здоровье береги!

«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две.

— Пиши! — крикнул Самойленко. — Понесла тебя нелегкая в такую погоду!

«Да, никто не знает настоящей правды…» — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

«Лодку бросает назад, — думал он, — делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни… В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля

гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…»

— Прощай-а-ай! — крикнул Самойленко.

— Не видать и не слыхать, — сказал дьякон. — Счастливой дороги!

Стал накрапывать дождь.

1891

Палата № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож

Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и, по-старинному, в колпаках.

Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному дозволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользовался издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая

и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут?

И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро

вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках,

напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.

II

Лет двенадцать-пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят-семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич;

он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую,

бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастия внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не

читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал

у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом

маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным

выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-ни-

будь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнивших трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе

в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он

никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня, — говорит он часто Ивану Дмитричу, — я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, — улыбается он, в недоумении пожимая плечами. — Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю, — угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. — Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловян-

ных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает по флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевше-

гося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие, крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными.

Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что мож-

но было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже

на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю…» или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, — для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после… Вероятно, тут недоразумение…

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь

тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству,

и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Саввишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах

висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопит-

ся прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или

непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать…

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время… — отвечает он. — Я погожу… погожу…

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый,

здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор. — Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное.

Разговор всегда начинает доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животными и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это

ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка… — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о

чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни… Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время

в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека, с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже

человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе… Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошлое и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет

назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже in spe.[16] Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория

---

[16] Примечания: 16
В будущем (*лат.*).

наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между

лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумя стами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит.

Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо, — подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколотками. — Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказал мягко Андрей Ефимыч. — Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал. — Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. — Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь, — сказал Андрей Ефимыч, ви-

новато улыбаясь. — Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю… — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя

на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня, — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда… — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. — Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравилось Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успоко-

иться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да

здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замурованному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голос, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы… Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно… Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли… Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, — значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, хватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного

слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел.

Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать. Никита… Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

X

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимыч. — Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку, — а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно… — пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали… Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями…

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор. — Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю… Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, — это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините… чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы, — сказал он. — Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже… Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и… полечиться у порядочного доктора от головной боли… Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, — сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в

бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение… — поморщился Иван Дмитрич. — Внешнее, внутреннее… Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, — я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я

реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния, — и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, — или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, — продолжал Иван Дмитрич с раздражением, — и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений,

большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности; прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение…

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился, — сказал он. — О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что

учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он. — Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здо-

ровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьян-

ствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят… Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь… Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь… Да! — опять рассердился Иван Дмитрич. — Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил

вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально, — сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня…

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефи-

мычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор.

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, — говорил Иван Дмитрич с раздражением. — С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, — проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. — И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы

умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрейфил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. — Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

XII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» — и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от город-

ского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с, — обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. — Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад, — продолжал Андрей Ефимыч тихим го-

лосом, — что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет, — засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится, — согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному

человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский

начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой, — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, — ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, — откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом… Друг мой! — И, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: — Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой.

Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым, — сказал Андрей Ефимыч, подумав. — Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет, — такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву… В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика

наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спич-

ки лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и, когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова, Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите,

ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался

чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, — думал доктор с досадой. — Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о кото-

рой говорил Иван Дмитрич, — думал он, сердясь на свою мелочность. — Впрочем, вздор… Приеду домой, и все пойдет по-старому…»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. — Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч. — Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состо-

янии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, — обратился он к доктору, — презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он

называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни.

Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой, — сказал ему робко почтмейстер, — извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей… Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообраз-

ная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефи-

мыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно

Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше

и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не вырастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях… Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у нас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч. — Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте… Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. — Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка

милого… женим…

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость.

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачу-

щим голосом, выбегая в сени. — К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Подай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, — зашептал Михаил Аверьяныч, — вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что… Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорыч хотя и моветон,[17] между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. — Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать

---

[17] Примечания: 17
Человек дурного тона (*фр.* mauvais ton).

лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить, — сказал Андрей Ефимыч с раздражением. — Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому

что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам… Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный

корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйте сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбою.

— Выздоровеете, бог даст, — повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча,

вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно… — думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. — Все равно… Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат…»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер

рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение… — проговорил он, разводя руками в недоумении. — Надо объясниться, тут недоразумение…

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. — Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение, — проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — Недоразумение какое-то…

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он. — И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью: придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего… Зато на том свете будет наш праздник… Я с того света

буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она, действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к

постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой, — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. — Пал духом.

— А вы пофилософствуйте, — сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой… Да, да… Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, — сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. — Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой… Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом… прострация… Слабы мы, дрянные мы… И вы тоже, дорогой мой. Вы умны,

благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели… Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — Скажу, чтобы сюда огня дали… Не могу так… не в состоянии…

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он. — Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — ска-

зал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. — Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. — Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать… на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где

же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. — Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном

свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал. «Мне все равно, — думал он, когда ему задавали вопросы. — Отвечать не стану… Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже

в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом… Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

1892

Рассказ неизвестного человека

I

По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов. Было ему около тридцати пяти лет, и звали его Георгием Иванычем.

К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.

Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой

и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.

У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что́, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь

провинциального университета. Я — отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов.

Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург — не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и воло-

сах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это,

быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», — и все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз.

После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.

Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, — очевидно, не считал меня человеком.

Только один раз я видел его сердитым. Однажды, — это было через неделю после того, как я поступил к нему, — он вернулся с какого-то обеда часов в девять, лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:

— У нас в комнатах чем-то воняет.

— Нет, воздух чист, — ответил я.

— А я тебе говорю, что воняет, — повторил он раздраженно.

— Я каждый день отворяю форточки.

— Не рассуждай, болван! — крикнул он.

Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.

— В самом деле, какой дурной запах! — сказала она, поднимая брови. — Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.

— Черт их возьми! — пробормотал он. — Хотят, чтоб я имел чудовищную память!

Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:

— Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь

ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.

Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.

— Зинаида Федоровна дома? — спросил я.

— Это я, — сказала дама.

— Письмо от Георгия Иваныча.

Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.

— Кланяйтесь и благодарите, — сказала она, кончив читать. — Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? — спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.

— Какие-то два господина, — ответил я. — Что-то пишут.

— Кланяйтесь и благодарите, — повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.

Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II

Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела, или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровал вместе с нею, или не изъявлял никакого желания стать ее любов-

ником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, нелакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял, и случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:

— Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.

Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:

— Поля, вы в бога веруете?

— А то как же!

— Стало быть, вы веруете, — продолжал я, — что будет Страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее

сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.

В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к «ты» и к постоянному лганью (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова нелегко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости — тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели

даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.

III

По четвергам у нас бывали гости.

Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральных карт. Поля уже с утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навыкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было

громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина… Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он

только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.

Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженые усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, осо-

бенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, не уверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, клянчить, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» — и затем следовали скабрезные пошлости — знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вку-

сах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.

Третий гость — Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал,

что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруткова: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощеньких детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон — он шел, ставили перед ним вино — пил, не ставили — не пил; бранили при нем жен — и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было, и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, стран-

ное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо:

Что день грядущий мне готовит? —

но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля.

Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог как следует постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать,

или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии — ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни — ирония, поднимал ли кто вопрос о народе — ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во Французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекар-

ского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь — не продашь». И все в таком роде, и все смешно.

От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: *На дела благотворительности* и другая — *На физиологические потребности*. Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки; она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицерика», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна;

человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.

В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.

IV

Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.

— Георгий Иваныч встал? — спросила она.

И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей, — я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

— Это Зинаиде Федоровне, — сказала девушка.

И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей

перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» — и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:

— Степан, дайте Георгию Иванычу одеться.

Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался: очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед своим «внутренним оком». Одевался, умывался и потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.

Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.

— Мне все еще не верится, — сказала она. — Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.

С выражением девочки, которой очень хочется

шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.

— Вы мне простите, — сказал Орлов, кивнув на газеты. — Читать за кофе — это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать и слушать.

— Читайте, читайте… Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?

— Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.

— Отчего? Вы имели время приготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.

— Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.

— И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и — конец.

— Да, конечно.

— Ах, милый мой! — сказала она, зажмуривая глаза. — Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию, — продолжала она по-французски. — Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, по-

тому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.

Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» — и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в

нее стреляли из пушек.

— В вас сильно бьется романтическая жилка, — перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.

Она засмеялась и продолжала рассказывать, не дотрагиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.

— Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, — рассказывала она, — но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это, с точки зрения бога, нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом, через полицию». А немного погодя, гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже

начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось, что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите, — одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распоряжаться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой! Подряд две ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.

— У тебя уютная квартира, но, боюсь, для двоих она будет мала, — говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты. — Какую ты дашь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.

Во втором часу она переоделась в комнате рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный про-

межуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли, между прочим, великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.

Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что ею совершено что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась новою жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко

любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.

— Нет выше блага, как свобода! — говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. — Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но, как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.

Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался, и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О да!»

— Степан, найдите поскорее хорошего повара, — обратилась она ко мне.

— Не следует торопиться с кухней, — сказал Орлов, холодно поглядев на меня. — Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дрязгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них — это дурной тон, мещанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа — она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды…

V

Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отменить четверги.

Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.

— И барыня дома? — спросил у меня шепотом Кукушкин.

— Никак нет, — ответил я.

Он вошел с хитрыми, маслеными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.

— Честь имею поздравить, — сказал он Орлову, дрожа всем телом от льстивого, угодливого смеха. — Желаю вам плодитися и размножатися, аки кедры ливанстие.

Гости отправились в спальню и поострили там

насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.

— Чему посмеяхомся, тому же и послужиша, — несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами. — Тише! — зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом. — Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.

И покатился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но я ошибся. Его доброе худощавое лицо сияло от удовольствия. Когда садились играть в карты, он, картавя и захлебываясь от смеха, говорил, что Жоржиньке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что, собственно, произошло.

— Но как же муж? — спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.

— Не знаю, — ответил Орлов.

Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:

— Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбляться друг в друга и нарушать седьмую заповедь сколько угодно — это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?

— А разве это не все равно?

— Гм… — задумался Пекарский. — Так вот что я тебе скажу, друг мой любезный, — продолжал он с видимым напряжением мысли, — если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим… как это называется?.. с этим романтизмом согласиться я не могу.

Орлов ничего не ответил. Он был не в духе, и ему не хотелось говорить. Пекарский, продолжая

недоумевать, постучал пальцами по столу, подумал и сказал:

— Я все-таки вас обоих не понимаю. Ты не студент, и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты мог бы устроить для нее отдельную квартиру.

— Нет, не мог бы. Почитай-ка Тургенева.

— Зачем мне его читать? Я уже читал.

— Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы его идее, — сказал Орлов, иронически щуря глаза. — Край света — это licentia poetica:[18] весь свет со всеми своими краями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире — значит отказывать ей в ее высоком назначении и не разделять ее идеалов. Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай.

— При чем тут Тургенев, не понимаю, — сказал тихо Грузин и пожал плечами. — А помните, Жоржинька, как он в «Трех встречах» идет поздно вечером где-то в Италии и вдруг слышит: Vieni

---

[18] Примечания: 18
Поэтическая вольность (*лат.*).

pensando a me segretamente![19] — запел Грузин. — Хорошо!

— Но ведь она не насильно к тебе переехала, — сказал Пекарский. — Ты сам этого захотел.

— Ну, вот еще! Я не только не хотел, но даже не мог думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переедет ко мне, то я думал, что она мило шутит.

Все засмеялись.

— Я не мог хотеть этого, — продолжал Орлов таким тоном, как будто его вынуждали оправдываться. — Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освобождать Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством иллюзий. Я не поеду к женщине, если заранее не уверен, что она будет красива, увлекательна; и сам я не

---

[19] Примечания: 19
Приди, тайно думая обо мне! (*ит.*).

поеду к ней, если я не в ударе. И лишь при таких условиях нам удается обмануть друг друга, и нам кажется, что мы любим и что мы счастливы. Но могу ли я хотеть медных кастрюлей и нечесаной головы, или чтобы меня видели, когда я неумыт и не в духе? Зинаида Федоровна в простоте сердца хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь. Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную жизнь и следить за каждым моим шагом и в то же время искренно уверять, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при мне и в купе и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать.

— А ты сделай ей внушение, — сказал Пекарский.

— Как? Ты думаешь, она поймет меня? Помилуй, мы мыслим так различно! По ее мнению, уйти от папаши и мамаши или от мужа к лю-

бимому мужчине — это верх гражданского мужества, а по-моему, это ребячество. Полюбить, сойтись с мужчиной — это значит начать новую жизнь, а по-моему, это ничего не значит. Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жены плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком, и с другой стороны — можно отказываться от наслаждений любви и в то же время быть глупым, злым животным. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например французский рабочий, тратит в день на обед десять су, на вино к обеду пять су и на женщину от пяти до десяти су, а свой ум и нервы он целиком отдает работе. Зинаида же Федоровна отдает любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил ее, что у нее в жизни ничего больше не осталось.

— Ты ей ничего не говори, — сказал Пекарский, — а просто найми для нее отдельную квартиру. Вот и все.

— Это легко говорить…

Немного помолчали.

— Но она мила, — сказал Кукушкин. — Она прелестна. Такие женщины воображают, что будут любить вечно, и отдаются с пафосом.

— Но надо иметь голову на плечах, — сказал Орлов, — надо рассуждать. Все опыты, известные нам из повседневной жизни и занесенные на скрижали бесчисленных романов и драм, единогласно подтверждают, что всякие адюльтеры и сожительства у порядочных людей, какова бы ни была любовь вначале, не продолжаются дольше двух, а много — трех лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие — ничего больше, как желание одурачить себя и меня. Она и мила и прелестна — кто спорит? Но она перевернула телегу моей жизни; то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьезного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом. Она и мила и прелестна, но почему-то теперь, когда я еду со службы домой, у меня бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встречу у себя дома какое-то неудобство вроде печников, которые разобрали все печи и навалили горы кирпича.

Одним словом, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своих нервов. А это скверно.

— И она не слышит этого злодея! — вздохнул Кукушкин. — Милостивый государь, — сказал он театрально, — я освобожу вас от тяжелой обязанности любить это прелестное создание! Я отобью у вас Зинаиду Федоровну!

— Можете… — сказал небрежно Орлов.

С полминуты Кукушкин смеялся тонким голоском и дрожал всем телом, потом проговорил:

— Смотрите, я не шучу! Не извольте потом разыгрывать Отелло!

Все стали говорить о неутомимости Кукушкина в любовных делах, как он неотразим для женщин и опасен для мужей и как на том свете черти будут поджаривать его на угольях за беспутную жизнь. Он молчал и щурил глаза и, когда называли знакомых дам, грозил мизинцем — нельзя-де выдавать чужих тайн. Орлов вдруг посмотрел на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузин, охмелевший от вина, одевался в этот раз томительно долго. Он надел свое пальто, похожее на те капоты, какие шьют детям в небогатых семьях, поднял воротник и стал что-то длинно рассказывать; потом, видя, что его не слушают,

перекинул через плечо свой плед, от которого пахло детской, и с виноватым, умоляющим лицом попросил меня отыскать его шапку.

— Жоржинька, ангел мой! — сказал он нежно. — Голубчик, послушайтесь меня, поедемте сейчас за город!

— Поезжайте, а мне нельзя. Я теперь на женатом положении.

— Она славная, не рассердится. Начальник добрый мой, поедем! Погода великолепная, метелица, морозик… Честное слово, вам встряхнуться надо, а то вы не в духе, черт вас знает…

Орлов потянулся, зевнул и посмотрел на Пекарского.

— Ты поедешь? — спросил он в раздумье.

— Не знаю. Пожалуй.

— Разве напиться, а? Ну, ладно, поеду, — решил Орлов после некоторого колебания. — Погодите, схожу за деньгами.

Он пошел в кабинет, а за ним поплелся Грузин, волоча за собою плед. Через минуту оба вернулись в переднюю. Пьяненький и очень довольный Грузин комкал в руке десятирублевую бумажку.

— Завтра сочтемся, — говорил он. — А она добрая, не рассердится… Она у меня Лизочку

крестила, я люблю ее, бедную. Ах, милый человек! — радостно засмеялся он вдруг и припал лбом к спине Пекарского. — Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, сухарь сухарем, а женщин небось любит…

— Прибавьте: толстых, — сказал Орлов, надевая шубу. — Однако поедемте, а то, гляди, на пороге встретится.

— Vieni pensando a me segretamente! — запел Грузин.

Наконец уехали. Орлов дома не ночевал и вернулся на другой день к обеду.

VI

У Зинаиды Федоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцом. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всем комнатам, растерянно оглядывая столы и окна, но часы как в воду канули.

Вскоре после этого, дня через три, Зинаида Федоровна, вернувшись откуда-то, забыла в передней свой кошелек. К счастью для меня, в этот раз не я помогал ей раздеваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то в передней его уже не оказалось.

— Странно! — недоумевала Зинаида Федоровна. — Я отлично помню, вынула его из кармана, чтобы заплатить извозчику… и потом положила здесь около зеркала. Чудеса!

Я не крал, но мною овладело такое чувство, как будто я украл и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обедать, Зинаида Федоровна сказала Орлову по-французски:

— У нас завелись духи. Я сегодня потеряла в передней кошелек, а сейчас, гляжу, он лежит у меня на столе. Но духи не бескорыстно устроили такой фокус. Взяли себе за работу золотую монету

и двадцать рублей.

— То у вас часы пропадают, то деньги… — сказал Орлов. — Отчего со мною никогда не бывает ничего подобного?

Через минуту Зинаида Федоровна уже не помнила про фокус, который устроили духи, и со смехом рассказывала, как она на прошлой неделе заказала себе почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адрес и магазин послал бумагу на старую квартиру к мужу, который должен был заплатить по счету двенадцать рублей. И вдруг она остановила свой взгляд на Поле и пристально посмотрела на нее. При этом она покраснела и смутилась до такой степени, что заговорила о чем-то другом.

Когда я принес в кабинет кофе, Орлов стоял около камина спиной к огню, а она сидела в кресле против него.

— Я вовсе не в дурном настроении, — говорила она по-французски. — Но я теперь стала соображать, и мне все понятно. Я могу назвать вам день и даже час, когда она украла у меня часы. А кошелек? Тут не может быть никаких сомнений. О! — засмеялась она, принимая от меня кофе. — Теперь я понимаю, отчего я так часто теряю свои платки и перчатки. Как хочешь, завтра я отпущу

эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка, и у нее не такой… отталкивающий вид.

— Вы не в духе. Завтра вы будете в другом настроении и поймете, что нельзя гнать человека только потому, что вы подозреваете его в чем-то.

— Я не подозреваю, а уверена, — сказала Зинаида Федоровна. — Пока я подозревала этого пролетария с несчастным лицом, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жорж, что вы мне не верите.

— Если мы с вами различно думаем о каком-нибудь предмете, то это не значит, что я вам не верю. Пусть вы правы, — сказал Орлов, оборачиваясь к огню и бросая туда папиросу, — но волноваться все-таки не следует. Вообще, признаться, я не ожидал, что мое маленькое хозяйство будет причинять вам столько серьезных забот и волнений. Пропала золотая монета, ну, и бог с ней, возьмите у меня их хоть сотню, но менять порядок, брать с улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнет, — все это длинно, скучно и не в моем характере. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть может, имеет слабость к перчаткам и платкам, но зато она вполне прилична, дисциплинированна и не визжит, когда

ее щиплет Кукушкин.

— Одним словом, вы не можете с ней расстаться… Так и скажите.

— Вы ревнуете?

— Да, я ревную! — сказала решительно Зинаида Федоровна.

— Благодарю.

— Да, я ревную! — повторила она, и на глазах у нее заблестели слезы. — Нет, это не ревность, а что-то хуже… я затрудняюсь назвать. — Она взяла себя за виски и продолжала с увлечением: — Вы, мужчины, бываете так гадки! Это ужасно!

— Ничего я не вижу тут ужасного.

— Я не видела, не знаю, но говорят, что вы, мужчины, еще в детстве начинаете с горничными и потом уже по привычке не чувствуете никакого отвращения. Я не знаю, не знаю, но я даже читала… Жорж, ты, конечно, прав, — сказала она, подходя к Орлову и меняя свой тон на ласковый и умоляющий, — в самом деле, я сегодня не в духе. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мне противна, и я боюсь ее. Мне тяжело ее видеть.

— Неужели нельзя быть выше этих мелочей? — сказал Орлов, пожимая в недоумении плечами и отходя от камина. — Ведь нет ничего проще: не замечайте ее, и она не будет противна, и не

понадобится вам из пустяка делать целую драму.

Я вышел из кабинета и не знаю, какой ответ получил Орлов. Как бы то ни было, Поля осталась у нас. После этого Зинаида Федоровна ни за чем уже не обращалась к ней и, видимо, старалась обходиться без ее услуг; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своим браслетом и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузин или Пекарский попросили Орлова рассчитать Полю, то он сделал бы это без малейшего колебания, не утруждая себя никакими объяснениями; он был сговорчив, как все равнодушные люди. Но в отношениях своих к Зинаиде Федоровне он почему-то даже в мелочах проявлял упрямство, доходившее подчас до самодурства. Так уж я и знал: если что понравилось Зинаиде Федоровне, то наверное не понравится ему. Когда она, вернувшись из магазина, спешила похвалиться перед ним обновками, то он мельком взглядывал на них и холодно говорил, что чем больше в квартире лишних вещей, тем меньше воздуха. Случалось, уже надевши фрак, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись с Зинаидою Федоровной, он вдруг из упрямства оставался дома. Мне казалось

тогда, что оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастным.

— Почему же вы остались? — говорила Зинаида Федоровна с напускною досадой и в то же время сияя от удовольствия. — Почему? Вы привыкли по вечерам не сидеть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня изменяли вашим привычкам. Поезжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

— А разве вас винит кто-нибудь? — говорил Орлов.

С видом жертвы он разваливался у себя в кабинете в кресле и, заслонив глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась из рук, он грузно поворачивался в кресле и опять заслонял глаза, как от солнца. Теперь уж ему было досадно, что он не ушел.

— Можно войти? — говорила Зинаида Федоровна, нерешительно входя в кабинет. — Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку… взглянуть.

Помню, в один из вечеров она вошла так же вот нерешительно и некстати и опустилась на ковер у ног Орлова, и по ее робким, мягким движениям видно было, что она не понимала его настроения и боялась.

— А вы все читаете… — начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему. — Знаете, Жорж, в чем еще тайна вашего успеха? Вы очень образованны и умны. Это у вас какая книга?

Орлов ответил. Прошло в молчании несколько минут, показавшихся мне очень длинными. Я стоял в гостиной, откуда наблюдал обоих, и боялся закашлять.

— Я хотела что-то сказать вам… — проговорила тихо Зинаида Федоровна и засмеялась. — Сказать? Вы, пожалуй, станете смеяться и назовете это самообольщением. Видите ли, мне ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня… чтобы этот вечер провести вместе. Да? Можно так думать?

— Думайте, — сказал Орлов, заслоняя глаза. — Истинно счастливый человек тот, кто думает не только о том, что есть, но даже о том, чего нет.

— Вы сказали что-то длинное, я не совсем поняла. То есть вы хотите сказать, что счастливые люди живут воображением? Да, это правда. Я люблю по вечерам сидеть в вашем кабинете и уноситься мыслями далеко, далеко… Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух!

— Я в институте не был, не проходил этой науки.

— Вы не в духе? — спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку. — Скажите — отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня…

Прошло в молчании еще несколько длинных минут.

— Отчего вы переменились? — сказала она тихо. — Отчего вы не бываете уже так нежны и веселы, как на Знаменской? Прожила я у вас почти месяц, но мне кажется, мы еще не начинали жить и ни о чем еще не поговорили как следует. Вы всякий раз отвечаете мне шуточками или холодно и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то холодное… Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Ну, вот давайте говорить. Ради бога, Жорж… Давайте?

— Давайте. Но о чем?

— Будем говорить о нашей жизни, о будущем… — сказала мечтательно Зинаида Федоровна. — Я все строю планы жизни, все строю — и мне так хорошо! Жорж, я начну с вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

— Это зачем же? — спросил Орлов, отнимая руку от лба.

— С вашими взглядами нельзя служить. Вы там не на месте.

— Мои взгляды? — спросил Орлов. — Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смею вас уверить.

— Опять шуточки, Жорж!

— Нисколько. Служба не удовлетворяет меня, быть может, но все же для меня она лучше, чем что-нибудь другое. Там я привык, там люди такие же, как я; там я не лишний во всяком случае и чувствую себя сносно.

— Вы ненавидите службу, и вам она претит.

— Да? Если я подам в отставку, стану мечтать вслух и унесусь в иной мир, то, вы думаете, этот мир будет мне менее ненавистен, чем служба?

— Чтобы противоречить мне, вы готовы даже клеветать на себя, — обиделась Зинаида Федоровна и встала. — Я жалею, что начала этот разговор.

— Что же вы сердитесь? Ведь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живет, как хочет.

— Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которые противны вашим убеждениям, — продолжала Зинаида Федоровна, в отчаянии всплескивая

руками, — подчиняться, поздравлять начальство с Новым годом, потом карты, карты и карты, а главное, служить порядкам, которые не могут быть вам симпатичны, — нет, Жорж, нет! Не шутите так грубо. Это ужасно. Вы идейный человек и должны служить только идее.

— Право, вы принимаете меня за кого-то другого, — вздохнул Орлов.

— Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вам противна, вот и все, — проговорила сквозь слезы Зинаида Федоровна.

— Вот что, моя милая, — сказал Орлов наставительно, поднимаясь в кресле. — Вы сами изволили заметить, человек я умный и образованный, а ученого учить — только портить. Все идеи, малые и великие, которые вы имеете в виду, называя меня идейным человеком, мне хорошо известны. Стало быть, если службу и карты я предпочитаю этим идеям, то, вероятно, имею на то основание. Это раз. Во-вторых, вы, насколько мне известно, никогда не служили и суждения свои о государственной службе можете черпать только из анекдотов и плохих повестей. Поэтому нам не мешало бы условиться раз навсегда: не говорить о том, что нам давно уже известно, или о том, что не входит в круг нашей компетенции.

— Зачем вы со мной так говорите? — проговорила Зинаида Федоровна, отступая назад, как бы в ужасе. — Зачем? Жорж, опомнитесь бога ради!

Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела задержать слезы, но вдруг зарыдала.

— Жорж, дорогой мой, я погибаю! — сказала она по-французски, быстро опускаясь перед Орловым и кладя голову ему на колени. — Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу… В детстве ненавистная, развратная мачеха, потом муж, а теперь вы… вы… Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом… И эта страшная, наглая горничная! — продолжала она, рыдая. — Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей… Я убью себя!

Я не ожидал, что эти слова и этот плач произведут на Орлова такое сильное впечатление. Он покраснел, беспокойно задвигался в кресле, и на лице его вместо иронии показался тупой, мальчишеский страх.

— Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вам, — растерянно забормотал он, трогая ее за волосы и плечи. — Простите меня, умоляю вас. Я был не прав и… ненавижу себя.

— Я оскорбляю вас своими жалобами и ны-

тьем… Вы честный, великодушный… редкий человек, я сознаю это каждую минуту, но меня все дни мучила тоска…

Зинаида Федоровна порывисто обняла Орлова и поцеловала его в щеку.

— Только не плачьте, пожалуйста, — проговорил он.

— Нет, нет… Я уже наплакалась, и мне легко.

— Что касается горничной, то завтра же ее не будет, — сказал он, все еще беспокойно двигаясь в кресле.

— Нет, она должна остаться, Жорж! Слышите? Я уже не боюсь ее… Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы — редкий… необыкновенный человек!

Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезинками на ресницах, сидя на коленях у Орлова, она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминание детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке. Она увлекалась и своим рассказом, и близостью любимого человека, и оттого, вероятно, что недавние слезы очистили и освежили ее душу, голос ее звучал необыкновенно чисто и искренно. А Орлов играл

ее каштановыми волосами и целовал ее руки, беззвучно прикасаясь к ним губами.

Затем пили в кабинете чай, и Зинаида Федоровна читала вслух какие-то письма. В первом часу пошли спать.

В эту ночь у меня сильно болел бок, и я до самого утра не мог согреться и уснуть. Мне слышно было, как Орлов прошел из спальни к себе в кабинет. Просидев там около часа, он позвонил. От боли и утомления я забыл о всех порядках и приличиях в свете и отправился в кабинет в одном нижнем белье и босой. Орлов в халате и в шапочке стоял в дверях и ждал меня.

— Когда тебя зовут, ты должен являться одетым, — сказал он строго. — Подай другие свечи.

Я хотел извиниться, но вдруг сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косяк.

— Вы больны? — спросил Орлов.

Кажется, за все время нашего знакомства это он в первый раз сказал мне «вы». Бог его знает, почему. Вероятно, в нижнем белье и с лицом, искаженным от кашля, я плохо играл свою роль и мало походил на лакея.

— Если вы больны, то зачем же вы служите? — сказал он.

— Чтобы не умереть с голода, — ответил я.

— Как все это, в сущности, пакостно! — тихо проговорил он, идя к своему столу.

Пока я, накинув на себя сюртук, вставлял и зажигал новые свечи, он сидел около стола и, протянув ноги на кресло, обрезывал книгу.

Оставил я его углубленным в чтение, и книга уже не валилась у него из рук, как вечером.

VII

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживает воспитанный во мне с детства страх — показаться чувствительным и смешным; когда мне хочется ласкать и говорить нежности, я не умею быть искренним. Вот именно от этого страха и с непривычки я никак не могу выразить с полной ясностью, что происходило тогда в моей душе.

Я не был влюблен в Зинаиду Федоровну, но в обыкновенном человеческом чувстве, какое я питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова.

Работая по утрам сапожною щеткой или веником, я с замиранием сердца ждал, когда, наконец, услышу ее голос и шаги. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и надевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась на мое плечо, потом ждать, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях, розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика, — если б вы знали, как все это было

для меня важно! Мне хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. Я мечтал и за обедом, и на улице, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спал. Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезились жена, детская, тропинки в саду, домик…

Я знал, что если бы я полюбил ее, то не посмел бы рассчитывать на такое чудо, как взаимность, но это соображение меня не беспокоило. В моем скромном, тихом чувстве, похожем на обыкновенную привязанность, не было ни ревности к Орлову, ни даже зависти, так как я понимал, что личное счастье для такого калеки, как я, возможно только в мечтах.

Когда Зинаида Федоровна по ночам, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядела в книгу, не перелистывая страниц, или когда вздрагивала и бледнела оттого, что через комнату проходила Поля, я страдал вместе с нею, и мне приходило в голову — разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, сделать поскорее так, чтобы она узнала все то, что говорилось здесь в четверги за ужи-

ном, но — как это сделать? Все чаще и чаще мне приходилось видеть слезы. В первые недели она смеялась и пела свою песенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой месяц у нас в квартире была унылая тишина, нарушаемая только по четвергам.

Она льстила Орлову и, чтобы добиться от него неискренней улыбки или поцелуя, стояла перед ним на коленях, ласкалась, как собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нее на душе было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мне казалось странным, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего? Мне особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, ненужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах и когда венецианским и брюссельским кружевницам платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом; и мне было странно, что Зинаида Федоровна не сознает этого,

мне было досадно. Но стоило ей только уйти из дому, как я все извинял, все объяснял и ждал, когда позвонит мне снизу швейцар.

Относилась она ко мне как к лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и в то же время не замечать ее; мне приказывали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия. Хозяева считали неприличным говорить со мной больше, чем это принято; если б я, прислуживая за обедом, вмешался в разговор или засмеялся, то меня, наверное, сочли бы сумасшедшим и дали бы мне расчет. Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, как обращаться с новою лампой или что-нибудь вроде, то лицо у нее было необыкновенно ясное, доброе и приветливое, и глаза смотрели мне прямо в лицо. При этом мне всякий раз казалось, что она с благодарностью вспоминает, как я носил ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ее фаворитом и ненавидевшая меня за это, говорила с язвительной усмешкой:

— Иди, тебя *твоя* зовет.

Зинаида Федоровна относилась ко мне как к существу низшему и не подозревала, что если кто и был в доме унижен, так это только она одна.

Она не знала, что я, лакей, страдал за нее и раз двадцать на день спрашивал себя, что́ ожидает ее впереди и чем все это кончится. Дела с каждым днем заметно становились хуже. После того вечера, когда говорили о службе, Орлов, не любивший слез, стал, видимо, бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Федоровна начинала спорить или умолять или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он все реже и реже ночевал дома и еще реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих приятелей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Федоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами. Обед приносили из ресторана, квартирного вопроса Орлов просил не поднимать впредь до возвращения из-за границы, а о путешествии говорил, что нельзя ехать раньше, чем у него отрастут длинные волосы, так как таскаться по отелям и служить идее нельзя без длинных волос.

В довершение всего к нам в отсутствие Орлова стал наведываться по вечерам Кукушкин. В поведении его не было ничего особенного, но я все никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну.

Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше церковного и что, в сущности, все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Федоровне и поклониться ей в ножки.

VIII

Рождественские Святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизующему какую-то губернию.

— Не хочется ехать, да не придумаешь отговорки! — сказал он с досадой. — Надо ехать, ничего не поделаешь.

От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.

— Надолго? — спросила она.

— Дней на пять.

— Я, признаться, рада, что ты едешь, — сказала она, подумав. — Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.

Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он несвободен.

— Я поеду сегодня вечером, — сказал он и стал

читать газеты.

Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вокзал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.

В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукою и поцеловал в лоб и в губы.

— Будь умницей, не скучай без меня, — проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул. — Храни тебя создатель.

Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

— Прости мне наши недоразумения, — сказала она по-французски. — Муж и жена не могут не ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай… Телеграфируй почаще и подробнее.

Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на средине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешитель-

но спускаться вниз.

У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает, как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:

— Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!

Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.

— Вот что, Степан, — сказал он, подходя ко мне. — Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.

Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.

— Не опоздали к поезду? — спросила Зинаида Федоровна.

— Никак нет. Приказали кланяться.

Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего, и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий

человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был не плохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, сгодилось, очевидно, то, что первое пришло в голову; удастся обман — хорошо, не удастся — беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.

В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали «ура», Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого лежанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.

— Нужно отправить телеграмму, — сказала она и улыбнулась. — Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.

Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».

Я послал эту телеграмму и на другой день утром

отдал расписку.

IX

Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.

— Зажилась, пора и честь знать! — говорила она с восторгом. — Самой бы надо понимать…

Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас недолго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза, — флаконы, черепаховые шпильки, платки, ботинки. На другой день Нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:

— Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!

За обедом она хотела налить себе супу, но не могла — дрожали руки. И губы у нее дрожали.

Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.

— Вы, Поля, можете выйти отсюда, — сказала она. — Достаточно одного Степана.

— Ничего-с, постою-с, — ответила Поля.

— Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем… совсем! — продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении. — Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!

— Без приказания барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.

— Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! — сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.

— Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.

— Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! — крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке. — Вы воровка! Слышите?

Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, показалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и

преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан, — как бы говорили они, — а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».

— Важная барыня, подумаешь! — доносилось до моего слуха из комнаты Поли. — Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!

Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.

— Телеграммы не приносили? — спросила она.

— Никак нет.

— Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому, — сказала она мне вслед, — мне страшно оставаться одной.

Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы. Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на теле-

граф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкафах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки — нет ли в них телеграммы.

Когда, наконец, в субботу позвонили снизу и

на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал!

— Отчего ты не телеграфировал? — говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости. — Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время… О боже мой!

— Очень просто! Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву, я не получал твоих телеграмм, — сказал Орлов. — После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет, а теперь спать, спать и спать. Замаялся в вагоне.

Видно было, что он не спал всю ночь, вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей, потом послышался громкий вздох Орлова и его голос.

— Боже мой! — сказал он по-французски. — Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной?

— Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей.

— Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите иметь характера… Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек: на каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов.

— Ну, будет, будет! — сказала испуганно Зинаида Федоровна. — Перестанем говорить об этом… Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве… Что в Москве?

X

На другой день — это было 7 января, день Иоанна Крестителя — Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравить его с ангелом. Нужно было ехать к двум часам, а когда он кончил одеваться, было только половина второго. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидой Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей:

— Ради бога, ради всего святого, не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому! И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и с азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы! Как бы одолжили!

— Мы, женщины, не можем сметь свое сужде-

ние иметь.

— Я вам даю полную свободу, будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку, не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах: о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец. Высший свет бранят всегда, чтобы противупоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны, но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший, и это не было бы ложью и кривляньем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.

— Мужик и купец кормят вас.

— Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шапку, значит, у них не хватает ума и честности поступать

иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший — оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Ну-с, что же касается теперь ненормальностей брака, — продолжал Орлов, взглянув на часы, — то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных, — одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас все, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете очертя голову мужчин и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мне, будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам.

Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик,

и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал.

— Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом, — говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной. — Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью!

— Ну, и прекрасно.

— Если вы честный, порядочный человек, то вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня и вас над тысячами людей, которые хотели бы поступить так же, как я, но не решаются из малодушия или мелких расчетов. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмехаетесь над честным порывом из страха, чтобы какой-нибудь невежда не заподозрил, что вы честный человек. Вы боитесь показывать меня своим знакомым, для вас нет выше наказания, как ехать вместе со мною по улице… Что? Разве это не правда? Почему вы до сих пор не представили меня вашему отцу и вашей кузине? Почему? Нет, мне это надоело, наконец! — крикнула Зинаида Федоровна и топнула ногой. — Я требую того, что мне принадлежит по праву. Извольте

представить меня вашему отцу!

— Если он вам нужен, то представьтесь ему сами. Он принимает ежедневно по утрам от десяти до половины одиннадцатого.

— Как вы низки! — сказала Зинаида Федоровна, в отчаянии ломая руки. — Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидеть вас. О, как вы низки!

— Мы всё ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей сути. Вся суть в том, что вы ошиблись и не хотите в этом сознаться вслух. Вы воображали, что я герой и что у меня какие-то необычайные идеи и идеалы, а на поверку-то вышло, что я самый заурядный чиновник, картежник и не имею пристрастия ни к каким идеям. Я достойный отпрыск того самого гнилого света, из которого вы бежали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, так как ошиблись вы, а не я.

— Да, я сознаюсь: я ошиблась!

— Вот и прекрасно. До главного договорились, слава богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до вас я не могу, так как слишком испорчен; унизиться до меня вы тоже не можете,

так как высоки слишком. Остается, стало быть, одно…

— Что? — быстро спросила Зинаида Федоровна, притаив дыхание и ставши вдруг бледною, как бумага.

— Остается позвать на помощь логику…

— Георгий, за что вы меня мучаете? — сказала Зинаида Федоровна вдруг по-русски надтреснувшим голосом. — За что? Поймите мои страдания…

Орлов, испугавшийся слез, быстро пошел в кабинет и, не знаю зачем, — желал ли он причинить ей лишнюю боль или вспомнил, что это практикуется в подобных случаях, — запер за собою дверь на ключ. Она вскрикнула и побежала за ним вдогонку, шурша платьем.

— Это что значит? — спросила она, стучась в дверь. — Это… это что значит? — повторила она тонким, обрывающимся от негодования голосом. — А, вы вот как? Так знайте же, я ненавижу, презираю вас! Между нами все уже кончено! Все!

Послышался истерический плач, с хохотом. В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орлов пробрался из кабинета в переднюю через другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надел шинель и цилиндр и вышел.

Прошло полчаса, час, а она все плакала. Я вспомнил, что у нее нет ни отца, ни матери, ни родных, что здесь она живет между человеком, который ее ненавидит, и Полей, которая ее обкрадывает, — и какою безотрадной представилась мне ее жизнь! Я, сам не знаю зачем, пошел к ней в гостиную. Она, слабая, беспомощная, с прекрасными волосами, казавшаяся мне образцом нежности и изящества, мучилась как больная; она лежала на кушетке, пряча лицо, и вздрагивала всем телом.

— Сударыня, не прикажете ли сходить за доктором? — спросил я тихо.

— Нет, не нужно… пустяки, — сказала она и посмотрела на меня заплаканными глазами. — У меня немножко голова болит… Благодарю.

Я вышел. А вечером она писала письмо за письмом и посылала меня то к Пекарскому, то к Кукушкину, то к Грузину и, наконец, куда мне угодно, лишь бы только я поскорее нашел Орлова и отдал ему письмо. Когда я всякий раз возвращался обратно с письмом, она бранила меня, умоляла, совала мне в руку деньги — точно в горячке. И ночью она не спала, а сидела в гостиной и разговаривала сама с собой.

На другой день Орлов вернулся к обеду, и они помирились.

В первый четверг после этого Орлов жаловался своим приятелям на невыносимо тяжелую жизнь; он много курил и говорил с раздражением:

— Это не жизнь, а инквизиция. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощении, опять слезы и вопли, а в итоге — у меня нет теперь собственной квартиры, я замучился и ее замучил. Неужели придется жить так еще месяц или два? Неужели? А ведь это возможно!

— А ты с ней поговори, — сказал Пекарский.

— Пробовал, но не могу. Можно смело говорить какую угодно правду человеку самостоятельному, рассуждающему, а ведь тут имеешь дело с существом, у которого ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слез, они меня обезоруживают. Когда она плачет, то я готов клясться в вечной любви и сам плакать.

Пекарский не понял, почесал в раздумье свой широкий лоб и сказал:

— Право, нанял бы ты ей отдельную квартиру. Ведь это так просто!

— Ей нужен я, а не квартира. Да что говорить? — вздохнул Орлов. — Я слышу только бесконечные разговоры, но не вижу выхода из своего положения. Вот уж воистину без вины виноват! Не

назывался груздем, а полезай в кузов. Всю свою жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы и вдруг, словно на смех, попал в самые настоящие герои. Уверяю честным словом, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимые доказательства, но мне не верят. Почему не верят? Должно быть, в самом деле у меня в физиономии есть что-нибудь геройское.

— А вы поезжайте ревизовать губернии, — сказал Кукушкин со смехом.

— Да только это и остается.

Через неделю после этого разговора Орлов объявил, что его опять командируют к сенатору, и в тот же день вечером уехал со своими чемоданами к Пекарскому.

XI

На пороге стоял старик лет шестидесяти, в длинной до земли шубе и в бобровой шапке.

— Дома Георгий Иваныч? — спросил он.

Сначала я подумал, что это один из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими получками, но когда он вошел в переднюю и распахнул шубу, я увидал густые брови и характерно сжатые губы, которые я так хорошо изучил по фотографиям, и два ряда звезд на форменном фраке. Я узнал его: это был отец Орлова, известный государственный человек.

Я ответил ему, что Георгия Иваныча нет дома. Старик крепко сжал губы и в раздумье поглядел в сторону, показывая мне свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю записку, — сказал он. — Проводи меня.

Он оставил в передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошел в кабинет. Тут он сел в кресло перед письменным столом и, прежде чем взяться за перо, минуты три думал о чем-то, заслонив глаза рукою, как от солнца, —

точь-в-точь как это делал его сын, когда бывал не в духе. Лицо у него было грустное, задумчивое, с выражением той покорности, какую мне приходилось видеть на лицах только у людей старых и религиозных. Я стоял позади, глядел на его лысину и на ямку в затылке, и для меня было ясно, как день, что этот слабый, больной старик теперь в моих руках. Ведь во всей квартире, кроме меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мне только употребить немножко физической силы, потом сорвать часы, чтобы замаскировать цели, и уйти черным ходом, и я получил бы неизмеримо больше, чем мог рассчитывать, когда поступал в лакеи. Я думал: едва ли когда представится мне более счастливый случай. Но вместо того чтобы действовать, я совершенно равнодушно посматривал то на лысину, то на мех и покойно размышлял об отношениях этого человека к своему единственному сыну и о том, что людям, избалованным богатством и властью, вероятно, не хочется умирать…

— Ты давно служишь у моего сына? — спросил он, выводя на бумаге крупные буквы.

— Третий месяц, ваше высокопревосходительство.

Он кончил писать и встал. У меня еще оста-

валось время. Я торопил себя и сжимал кулаки, стараясь выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминал, каким страстным, упрямым и неутомимым врагом я был еще так недавно… Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое грустное лицо и холодный блеск звезд вызывали во мне только мелкие, дешевые и ненужные мысли о бренности всего земного, о скорой смерти…

— Прощай, братец! — сказал старик, надел шапку и вышел.

Нельзя уже было сомневаться: во мне произошла перемена, я стал другим. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, как будто я нечаянно заглянул в темный, сырой угол. Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в раскрытый чемодан, было

нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение. Когда вернулась Зинаида Федоровна, я бросился отворять ей и с особенною нежностью снял с нее шубу. В последний раз!

Кроме старика, в этот день приходило к нам еще двое. Вечером, когда совсем уже стемнело, неожиданно пришел Грузин, чтобы взять для Орлова какие-то бумаги. Он открыл стол, достал нужные бумаги и, свернув их в трубку, приказал мне положить в передней около его шапки, а сам пошел к Зинаиде Федоровне. Она лежала в гостиной на софе, подложив руки под голову. Прошло уже пять или шесть дней, как Орлов уехал на ревизию, и никому не было известно, когда он вернется, но она уже не посылала телеграмм и не ожидала их. Поли, которая все еще жила у нас, она как будто не замечала. «Пусть!» — читал я на ее бесстрастном, очень бледном лице. Ей уже, как Орлову, из упрямства хотелось быть несчастной; она назло себе и всему на свете по целым

дням лежала неподвижно на софе, желая себе только одного дурного и ожидая только дурное. Вероятно, она воображала себе возвращение Орлова и неизбежные ссоры с ним, потом его охлаждение, измены, потом, как они разойдутся, и эти мучительные мысли доставляли ей, быть может, удовольствие. Но что бы она сказала, если бы вдруг узнала настоящую правду?

— Я вас люблю, кума, — говорил Грузин, здороваясь и целуя ей руку. — Вы такая добрая! А Жоржинька-то уехал, — солгал он. — Уехал, злодей!

Он со вздохом сел и нежно погладил ее по руке.

— Позвольте, голубка, посидеть у вас часок, — сказал он. — Домой мне идти не хочется, а к Биршовым еще рано. Сегодня у Биршовых день рождения их Кати. Славная девочка!

Я подал ему стакан чаю и графинчик с коньяком. Он медленно, с видимою неохотой выпил чай и, возвращая мне стакан, спросил робко:

— А нет ли у вас, дружок, чего-нибудь… закусить? Я еще не обедал.

У нас ничего не было. Я сходил в ресторан и принес ему обыкновенный рублевый обед.

— За ваше здоровье, голубчик! — сказал он

Зинаиде Федоровне и выпил рюмку водки. — Моя маленькая, ваша крестница, кланяется вам. Бедняжка, у нее золотушка! Ах, дети, дети! — вздохнул он. — Что ни говорите, кума, а приятно быть отцом. Жоржиньке непонятно это чувство.

Он еще выпил. Тощий, бледный, с салфеткой на груди, точно в передничке, он с жадностью ел и, поднимая брови, виновато поглядывал то на Зинаиду Федоровну, то на меня, как мальчик. Казалось, что если бы я не дал ему рябчика или желе, то он заплакал бы. Утолив голод, он повеселел и стал со смехом рассказывать что-то о семье Биршовых, но, заметив, что это скучно и что Зинаида Федоровна не смеется, замолчал. И как-то вдруг стало скучно. После обеда оба сидели в гостиной при свете одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотела спросить его о чем-то, но не решалась. Так прошло с полчаса. Грузин поглядел на часы.

— А пожалуй, что мне и пора.

— Нет, посидите… Нам поговорить надо.

Опять помолчали. Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» — но, по обыкновению, тотчас же встал и встряхнул головой.

— Сыграйте, кум, что-нибудь, — попросила

Зинаида Федоровна.

— Что же? — спросил он, пожав плечами. — Я все уже перезабыл. Давно бросил.

Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского, так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда — не умное и не глупое, и мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной.

— А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку, — сказал он. — Я слышал, как ее играли на виолончели.

Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл «Лебединую песню» Сен-Санса. Сыграл и повторил.

— Мило ведь? — сказал он.

Взволнованная Зинаида Федоровна остановилась около него и спросила:

— Кум, скажите мне искренно, по-дружески: что вы обо мне думаете?

— Что же сказать? — проговорил он, поднимая брови. — Я люблю вас и думаю о вас одно толь-

ко хорошее. Если же вы хотите, чтоб я говорил вообще по интересующему вас вопросу, — продолжал он, вытирая себе рукав около локтя и хмурясь, — то, милая, знаете ли… Свободно следовать влечениям своего сердца — это не всегда дает хорошим людям счастье. Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь жестока, груба и беспощадна в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе. Я так думаю.

— Куда мне! — печально улыбнулась Зинаида Федоровна. — Я уже утомилась, кум. Я так утомилась, что не пошевельну пальцем для своего спасения.

— Ступайте, кума, в монастырь.

Это он сказал шутя, но после его слов у Зинаиды Федоровны, а потом и у него самого на глазах заблестели слезы.

— Ну-с, — сказал он, — сидели-сидели да поехали. Прощайте, кумушка милая. Дай бог вам здоровья.

Он поцеловал ей обе руки и, нежно погладив их, сказал, что непременно побывает еще на днях. Надевая в передней свое пальто, похожее

на детский капотик, он долго шарил в карманах, чтобы дать мне на чай, но ничего не нашел.

— Прощай, голубчик! — сказал он грустно и вышел.

Никогда не забуду того настроения, какое оставил после себя этот человек. Зинаида Федоровна все еще продолжала в волнении ходить по гостиной. Не лежала, а ходила — уж одно это хорошо. Я хотел воспользоваться этим настроением, чтоб откровенно поговорить с ней и тотчас уйти, но едва я успел проводить Грузина, как послышался звонок. Это пришел Кукушкин.

— Дома Георгий Иваныч? — спросил он. — Вернулся? Ты говоришь: нет? Экая жалость! В таком случае пойду поцелую хозяйке ручку и — вон. Зинаида Федоровна, можно? — крикнул он. — Я хочу вам ручку поцеловать. Извините, что так поздно.

Он просидел в гостиной недолго, не больше десяти минут, но мне казалось, что он сидит уже давно и никогда не уйдет. Я кусал себе губы от негодования и досады и уже ненавидел Зинаиду Федоровну. «Почему она не гонит его от себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала с ним.

Когда я подавал ему шубу, он в знак особого ко

мне расположения спросил меня, как это я могу обходиться без жены.

— Но, я думаю, ты не зеваешь, — сказал он, смеясь. — У тебя с Полей, должно быть, тут шуры-амуры… Шалун!

Несмотря на свой житейский опыт, я тогда мало знал людей, и очень возможно, что я часто преувеличивал ничтожное и вовсе не замечал важного. Мне показалось, что Кукушкин хихикает и льстит мне недаром: уж не надеется ли он, что я, как лакей, буду болтать всюду по чужим лакейским и кухням о том, что он бывает у нас по вечерам, когда нет Орлова, и просиживает с Зинаидой Федоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдут до ушей его знакомых, он будет конфузливо опускать глаза и грозить мизинцем. И разве сам он, — думал я, глядя на его маленькое медовое лицо, — не будет сегодня же за картами делать вид и, пожалуй, проговариваться, что он уже отбил у Орлова Зинаиду Федоровну?

Та ненависть, которой так недоставало мне в полдень, когда приходил старик, теперь овладела мной. Кукушкин вышел, наконец, и я, прислушиваясь к шарканью его кожаных калош, чувствовал сильное желание послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но

сдержал себя. А когда шаги затихли на лестнице, я вернулся в переднюю и, сам не зная, что делаю, схватил сверток бумаг, забытый Грузиным, и опрометью побежал вниз. Без пальто и без шапки я выбежал на улицу. Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер.

— Ваше превосходительство! — крикнул я, догоняя Кукушкина. — Ваше превосходительство!

Он остановился около фонаря и оглянулся с недоумением.

— Ваше превосходительство! — проговорил я, задыхаясь. — Ваше превосходительство!

И, не придумав, что сказать, я раза два ударил его бумажным свертком по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь, — до такой степени я ошеломил его, — он прислонился спиной к фонарю и заслонил руками лицо. В это время мимо проходил какой-то военный доктор и видел, как я бил человека, но только с недоумением посмотрел на нас и пошел дальше.

Мне стало стыдно, и я побежал обратно в дом.

XII

С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. Бежать! Но, прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову:

«Оставляю вам свой фальшивый паспорт, — начал я, — прошу оставить его себе на память, фальшивый человек, господин петербургский чиновник!

Вкрасться в дом под чужим именем, наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь, все видеть и слышать, чтобы потом непрошено изобличить во лжи, — все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства. Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать, — я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию».

Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не все ли равно?

Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.

Вероятно, оттого, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар. Горело лицо, ломило ноги… Тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждою мыслью в мозгу движется ее тень.

«Я болен, слаб, нравственно угнетен, — продолжал я, — я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унизить вас, но теперь мне не кажется, что я имею на это право. Вы и я — оба упали, и оба уже никогда не встанем, и мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке: как ни стучи — не разбудишь! Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят, я продолжаю писать, почему-то волнуюсь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу за-

дать вам, стоит передо мной ясно, как огненный.

Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить нетрудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы, но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам и что я обманул себя. К тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы; личного счастья я не знал и не знаю, приюта у меня нет, воспоминания мои тяжки, и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали, вы? Какие роковые, дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом, отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других оттого, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же с какою нежною, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, от боли и беспокойства, как рано ваша душа спряталась в

халат, какого труса разыграли вы перед действительною жизнью и природой, с которою борется всякий здоровый и нормальный человек. Как вам мягко, уютно, тепло, удобно — и как скучно! Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме, но вы стараетесь спрятаться и от этого врага: вы по восьми часов в сутки играете в карты.

А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили смолоду поставить ее в рамки; вы вооружились ироническим отношением к жизни, или как хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей, и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы *все* вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею не прав, а вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и

правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром, недаром вы так боитесь слез!

Кстати, ваши отношения к женщине. Бесстыдство мы унаследовали с плотью и кровью и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны *все* идеи, вы не могли не увидеть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее, и, чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваши отношения к ней. Разве холодные, скабрезные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о десяти су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч., — разве все это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низко к грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы — слабый, несчастный, несимпатичный человек».

В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячею головой опять пошел к столу.

«Но вот вопрос, — продолжал я. — Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к тридцати — тридцати пяти годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?

Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что, если бы чудом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?.. Сладкие мечты жгут меня, и я едва

дышу от волнения. Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день и жизнь дается не дважды, — хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их...»

Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию и пошел в кабинет. Было темно. Я нащупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я натыкался на мебель и производил шум.

— Кто там? — послышался тревожный голос из гостиной.

И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи.

XIII

В потемках я по крайней мере с полминуты царапал дверь, нащупывая ее, потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец я остановился и проговорил через силу:

— Он не вернется!

Она быстро встала на ноги и смотрела на меня не понимая.

— Он не вернется! — повторил я, и у меня страшно застучало сердце. — Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского.

Она поняла и поверила мне — это я видел по ее внезапной бледности и по тому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое, она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время

она вспомнила, что я лакей, низшее существо… Проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жара лицом, быть может пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово:

— Вас не спрашивают. Подите отсюда прочь.

— О, верьте мне! — сказал я с увлечением, протягивая к ней руки. — Я не лакей, я такой же свободный, как и вы!

Я назвал себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал или ошибся, или сказал глупость, теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор; но я продолжал с увлечением:

— Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского, и я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами

тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись… Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашею любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты! Бегите отсюда! Бегите!

— Ну, что ж? — проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам. — Ну, что ж? Пусть.

Глаза ее были полны слез, губы дрожали, и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презренною, смешною; она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка.

— Ну, что ж? — повторила она и опять провела рукой по волосам. — Пусть. Он воображает, что я умру от унижения, а мне… смешно. Напрасно он прячется. — Она отошла от рояля и сказала, пожав плечами: — Напрасно… Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела… и только ждала его приезда, чтоб окончательно объясниться.

Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно, но

я видел, как вздрагивали ее голова и плечи и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки… В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче слышались оскорбление, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом; я уже забыл про свою болезнь и про все на свете, ходил по гостиной и бормотал растерянно:

— Что же это за жизнь?.. О, нельзя так жить! Нельзя! Это — безумие, преступление, а не жизнь!

— Какое унижение! — говорила она сквозь плач. — Жить вместе… улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна… О, какое унижение!

Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила:

— Они смеялись?

— Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы начитались. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смеш-

ной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде. Да что о них говорить? — сказал я с нетерпением. — Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты.

Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел.

— Что же мы ждем? — спросил я уныло. — Уже третий час.

— Ничего я не жду, — сказала она. — Я пропала.

— Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обдумаем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь… Куда вы намерены ехать отсюда?

Вдруг в передней раздался звонок. У меня екнуло сердце. Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся? Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передней со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная, как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу.

— Кто это пришел? — спросила она тихо.

— Поля, — отвечал я.

Она провела рукой по волосам и в изнеможе-

нии закрыла глаза.

— Я сейчас уеду отсюда, — сказала она. — Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который час?

— Без четверти три.

XIV

Когда мы немного погодя вышли из дому, на улице было темно и безлюдно. Шел мокрый снег, и влажный ветер хлестал по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель, и уже несколько дней извозчики ездили на колесах. Под впечатлением черной лестницы, холода, ночных потемок и дворника в тулупе, который опросил нас, прежде чем выпустил за ворота, Зинаида Федоровна совсем ослабела и пала духом. Когда мы сели в пролетку и накрылись верхом, она, дрожа всем телом, торопливо заговорила о том, как она мне благодарна.

— Я не сомневаюсь в вашем доброжелательстве, но мне стыдно, что вы беспокоитесь... — бормотала она. — О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня был Грузин, я чувствовала, что он лжет и что-то скрывает. Ну, что ж? Пусть. Но все-таки мне совестно, что вы так беспокоитесь.

У нее оставались еще сомнения. Чтобы окончательно рассеять их, я приказал извозчику ехать по Сергиевской; остановивши его у подъезда Пекарского, я вылез из пролетки и позвонил. Когда вышел швейцар, я громко, чтобы могла слышать

Зинаида Федоровна, спросил, дома ли Георгий Иваныч.

— Дома, — ответил он. — С полчаса как приехал. Должно, уж спит. А тебе что?

Зинаида Федоровна не выдержала и высунулась из пролетки.

— А давно Георгий Иванович живет здесь? — спросила она.

— Уже третью неделю.

— И никуда не уезжал?

— Никуда, — ответил швейцар и посмотрел на меня с удивлением.

— Передай ему завтра пораньше, — сказал я, — что к нему из Варшавы сестра приехала. Прощай.

Затем мы поехали дальше. В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей. Мне стало казаться, что мы давно уже едем, давно страдаем и что я давно уже слышу, как дрожит дыхание у Зинаиды Федоровны. Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нищие», которую я раза два видел в детстве. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться от этого

полубреда, выглянул из-под верха и увидел рассвет, все образы прошлого, все туманные мысли вдруг слились у меня в одну ясную, крепкую мысль: я и Зинаида Федоровна погибли уже безвозвратно. Это была уверенность, как будто синее холодное небо содержало в себе пророчество, но через мгновение я думал уже о другом и верил в другое.

— Что же я теперь? — говорила Зинаида Федоровна голосом, сиплым от холода и сырости. — Куда мне идти, что делать? Грузин сказал: ступайте в монастырь. О, я пошла бы! Переменила бы одежду, свое лицо, имя, мысли… все, все и спряталась бы навеки. Но меня не пустят в монастырь. Я беременна.

— Мы завтра поедем с вами за границу, — сказал я.

— Нельзя это. Муж не даст мне паспорта.

— Я провезу вас без паспорта.

Извозчик остановился около двухэтажного деревянного дома, выкрашенного в темный цвет. Я позвонил. Принимая от меня небольшую легкую корзинку, — единственный багаж, который мы взяли с собой, — Зинаида Федоровна как-то кисло улыбнулась и сказала:

— Это мои bijoux…[20]

Но она так ослабела, что была не в силах держать эти bijoux. Нам долго не отворяли. После третьего или четвертого звонка в окнах замелькал свет и послышались шаги, кашель, шепот; наконец щелкнул замок, и в дверях показалась полная баба с красным, испуганным лицом. Позади ее, на некотором расстоянии, стояла маленькая худенькая старушка со стрижеными седыми волосами, в белой кофточке и со свечой в руках. Зинаида Федоровна вбежала в сени и бросилась к этой старушке на шею.

— Нина, я обманута! — громко зарыдала она. — Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!

Я отдал бабе корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыдания и крик: «Нина!» Я сел в пролетку и приказал извозчику ехать не спеша к Невскому. Нужно было подумать и о своем ночлеге.

На другой день, перед вечером, я был у Зинаиды Федоровны. Она сильно изменилась. На ее бледном, сильно похудевшем лице не было уже и следа слез, и выражение было другое. Не знаю, оттого ли, что я видел ее теперь при другой об-

---

[20] Примечания: 20
Драгоценности (*франц.*).

становке, далеко не роскошной, и что отношения наши были уже иные, или, быть может, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и нарядною, как всегда; фигура у нее стала как будто мельче, в движениях, в походке, в ее лице я заметил излишнюю нервность, порывистость, как будто она спешила, и не было прежней мягкости даже в ее улыбке. Я был одет теперь в дорогую пару, которую купил себе днем. Она окинула взглядом прежде всего эту пару и шляпу в моей руке, потом остановила нетерпеливый, испытующий взгляд на моем лице, как бы изучая его.

— Ваше превращение мне все еще кажется каким-то чудом, — сказала она. — Извините, я с таким любопытством осматриваю вас. Ведь вы необыкновенный человек.

Я рассказал ей еще раз, кто я и зачем жил у Орлова, и рассказывал об этом дольше и подробнее, чем вчера. Она слушала с большим вниманием и, не дав мне кончить, проговорила:

— Там у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вот ответ.

На листке, который она подала мне, почерком Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю

счастья и прошу поскорее забыть уважающего вас Г. О.

P. S. Посылаю ваши вещи».

Сундуки и корзины, присланные Орловым, стояли тут же в гостиной, и среди них находился также и мой жалкий чемодан.

— Значит… — сказала Зинаида Федоровна и не договорила.

Мы помолчали. Она взяла записку и минуты две держала ее перед глазами, и в это время лицо ее приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выражение, какое у нее было вчера в начале нашего объяснения; на глазах у нее выступили слезы, не робкие, не горькие, а гордые, сердитые слезы.

— Слушайте, — сказала она, порывисто поднимаясь и отходя к окну, чтобы я не видел ее лица. — Я решила так: завтра же уеду с вами за границу.

— И прекрасно. Я готов ехать хоть сегодня.

— Вербуйте меня. Вы читали Бальзака? — спросила она вдруг, обернувшись. — Читали? Его роман «Père Goriot»[21] кончается тем, что герой глядит с вершины холма на Париж и грозит этому

---

[21] Примечания: 21
«Отец Горио» (*франц.*).

городу: «Теперь мы разделаемся!» — и после этого начинает новую жизнь. Так и я, когда из вагона взгляну в последний раз на Петербург, то скажу ему: «Теперь мы разделаемся!»

И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шутке и почему-то вздрогнула всем телом.

XV

В Венеции у меня начались плевритические боли. Вероятно, я простудился вечером, когда мы с вокзала плыли в Hôtel Bauer. Пришлось с первого же дня лечь в постель и пролежать недели две. Каждое утро, пока я был болен, приходила ко мне из своего номера Зинаида Федоровна, чтобы вместе пить кофе, и потом читала мне вслух французские и русские книги, которых мы много накупили в Вене. Эти книги были мне давно уже знакомы или же неинтересны, но около меня звучал милый, добрый голос, так что, в сущности, содержание всех их для меня сводилось к одному: я не одинок. Она уходила гулять, возвращалась в своем светло-сером платье, в легкой соломенной шляпе, веселая, согретая весенним солнцем, и, севши у постели, нагнувшись низко к моему лицу, рассказывала что-нибудь про Венецию или читала эти книги — и мне было хорошо.

Ночью мне было холодно, больно и скучно, но днем я упивался жизнью, — лучшего выражения не придумаешь. Яркое, горячее солнце, бьющее в открытые окна и в дверь на балконе, крики внизу, плесканье весел, звон колоколов, раскатистый

гром пушки в полдень и чувство полной, полной свободы делали со мной чудеса; я чувствовал на своих боках сильные, широкие крылья, которые уносили меня бог весть куда. А какая прелесть, сколько порой радости от мысли, что с моею жизнью теперь идет рядом другая жизнь, что я слуга, сторож, друг, необходимый спутник существа молодого, красивого и богатого, но слабого, оскорбленного, одинокого! Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника. Раз я слышал, как она за дверью шепталась с моим доктором, и потом вошла ко мне с заплаканными глазами, — это плохой знак, — но я был растроган, и у меня стало на душе необыкновенно легко.

Но вот мне позволили выходить на балкон. Солнце и легкий ветерок с моря нежат и ласкают мое больное тело. Я смотрю вниз на давно знакомые гондолы, которые плывут с женственною грацией, плавно и величаво, как будто живут и чувствуют всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнет морем. Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо! Как не похоже на ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по лицу! Вот если взглянуть прямо через канал, то видно взморье

и на горизонте на просторе солнце рябит по воде так ярко, что больно смотреть. Тянет душу туда, к родному, хорошему морю, которому я отдал свою молодость. Жить хочется! Жить и — больше ничего!

Через две недели я стал ходить, куда мне угодно. Я любил сидеть на солнышке, слушать гондольера, не понимать и по целым часам смотреть на домик, где, говорят, жила Дездемона, — наивный, грустный домик с девственным выражением, легкий, как кружево, до того легкий, что, кажется, его можно сдвинуть с места одною рукой. Я подолгу стоял у могилы Кановы и не отрывал глаз с печального льва. А во Дворце дожей меня все манило к тому углу, где замазали черною краской несчастного Марино Фальеро. Хорошо быть художником, поэтом, драматургом, думал я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в мистицизм! Эх, к этому безмятежному спокойствию и удовлетворению, какое наполняет душу, хотя бы кусочек какой-нибудь веры.

Вечером ели устриц, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одном месте, под ней чуть слышно хлюпает вода. Там и сям дрожат и колышутся отражения звезд и прибрежных огней. Недалеко от нас в

гондоле, увешанной цветными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках, и Зинаида Федоровна, бледная, с серьезным, почти суровым лицом, сидит рядом со мной, крепко стиснув губы и руки. Она думает о чем-то и не пошевельнет даже бровью и не слышит меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающий взгляд и до невероятного унылые, жуткие и, как снег, холодные воспоминания, а кругом гондолы, огни, музыка, песня с энергическим страстным вскриком: «Jam-mo!.. Jam-mo!..» — какие житейские контрасты! Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием: «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она — злосчастная, брошенная, а я — верный, преданный друг, мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник, не способный уже ни на что, как только кашлять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой… но кому и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чем жертвовать, спрашивается?

После вечерней прогулки мы каждый раз пили

чай в ее номере и разговаривали. Мы не боялись трогать старых, еще не заживших ран, — напротив, я почему-то даже испытывал удовольствие, когда рассказывал ей о своей жизни у Орлова или откровенно касался отношений, которые мне были известны и не могли быть от меня скрыты.

— Минутами я вас ненавидел, — говорил я. — Когда он капризничал, снисходил и лгал, то меня поражало, как это вы ничего не видите, не понимаете, когда все так ясно. Целуете ему руки, стоите на коленях, льстите…

— Когда я… целовала руки и стояла на коленях, я любила… — говорила она, краснея.

— Неужели было так трудно разгадать его? Хорош сфинкс! Сфинкс — камер-юнкер! Я ни в чем вас не упрекаю, храни бог, — продолжал я, чувствуя, что я грубоват, что у меня нет светскости и той деликатности, которая так нужна, когда имеешь дело с чужою душой; раньше, до знакомства с ней, я не замечал в себе этого недостатка. — Но как вы могли не угадать? — повторял я, но уже тише и неувереннее.

— Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы, — говорила она в сильном волнении. — Вы принадлежите к особенному разряду людей, которых нельзя мерить на

обыкновенный аршин, ваши нравственные требования отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю вас, и если иной раз я противоречу, то это не значит, что я иначе смотрю на вещи, чем вы; говорю я прежний вздор просто оттого, что еще не успела износить своих старых платьев и предрассудков. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь… Какая это любовь? Теперь даже смешно все это, — говорила она, подходя к окну и глядя вниз на канал. — Все эти любви только туманят совесть и сбивают с толку. Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком на подлую змеиную голову, и чтобы она — крак! Вот в чем смысл. В этом одном, или же вовсе нет смысла.

Я рассказывал ей длинные истории из своего прошлого и описывал свои в самом деле изумительные похождения. Но о той перемене, какая произошла во мне, я не обмолвился ни одним словом. Она с большим вниманием слушала меня всякий раз и в интересных местах потирала руки, как будто с досадой, что ей не удалось еще пережить такие же приключения, страхи и радости, но вдруг задумывалась, уходила в себя, и я уже видел по ее лицу, что она не слушает меня.

Я закрывал окна, выходящие на канал, и спрашивал: не затопить ли камин?

— Нет, бог с ним. Мне не холодно, — говорила она, вяло улыбаясь, — я только ослабела вся. Знаете, мне кажется, что за последнее время я страшно поумнела. У меня теперь необыкновенные, оригинальные мысли. Когда я, например, думаю о прошлом, о своей тогдашней жизни… ну, о людях вообще, то все это сливается у меня в одно — в образ моей мачехи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и к тому же еще морфинистка. Отец, слабый и бесхарактерный, женился на моей матери из-за денег и вогнал ее в чахотку, а эту вот свою вторую жену, мою мачеху, любил страстно, без памяти… Натерпелась я! Ну, да что говорить! Так вот все, говорю я, сливается в один образ… И мне досадно: зачем мачеха умерла? Хотелось бы теперь встретиться с ней!..

— Зачем?

— Так, не знаю… — отвечала она со смехом, красиво встряхивая головой. — Спокойной ночи. Выздоравливайте. Как только поправитесь, займемся нашими делами… Пора.

Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:

— Как думаете, Поля все еще живет у него?

— Вероятно.

И я уходил к себе. Так мы прожили месяц. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уж узкая, густая полоса дождя, как марля, закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. В тот же день мы уехали во Флоренцию.

XVI

Дело происходило уже осенью в Ницце. Однажды утром, когда я зашел к ней в номер, она сидела в кресле, положив ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрыв лицо руками, и плакала горько, навзрыд, и ее длинные, непричесанные волосы падали ей на колени. Впечатление чудного, удивительного моря, которое я только что видел, про которое хотел рассказать, вдруг оставило меня, и сердце мое сжалось от боли.

— О чем вы? — спросил я; она отняла одну руку от лица и махнула мне, чтоб я вышел. — Ну, о чем вы? — повторил я и в первый раз за все время нашего знакомства поцеловал у нее руку.

— Нет, нет, ничего! — проговорила она быстро. — Ах, ничего, ничего… Уйдите… Видите, я не одета.

Я вышел в страшном смущении. Покой и беспечальное настроение, в каком я так долго находился, были отравлены состраданием. Мне страстно хотелось пасть к ее ногам, умолять, чтобы она не плакала в одиночку, а делилась бы со мной своим горем, и ровный шум моря заворчал в моих ушах уже как мрачное пророчество, и

я видел впереди новые слезы, новые скорби и потери. О чем, о чем она плачет? — спрашивал я, вспоминая ее лицо и страдальческий взгляд. Я вспомнил, что она беременна. Она старалась скрыть свое положение и от людей и от себя самой. Дома она ходила в просторной блузе или в кофточке с преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась в корсет так сильно, что два раза во время прогулок с ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся о том, что ей не мешало бы посоветоваться с доктором, она вся покраснела и не сказала ни слова.

Когда я потом вошел к ней, она была уже одета и причесана.

— Полно, полно! — сказал я, видя, что она готова опять заплакать. — Давайте-ка лучше пойдем к морю и потолкуем.

— Не могу я говорить. Простите, я теперь в таком настроении, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Владимир Иванович, когда в другой раз захотите войти ко мне, то предварительно постучите в дверь.

Это «предварительно» прозвучало как-то особенно, не по-женски. Я вышел. Возвращалось

проклятое, петербургское настроение, и все мои мечты свернулись и сжались, как листья от жара. Я чувствовал, что я опять одинок, что близости между нами нет. Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорвет и унесет ветер. Я прогулялся по скверу, где играла музыка, зашел в казино; тут я оглядывал разодетых, сильно пахнущих женщин, и каждая взглядывала на меня так, как будто хотела сказать: «Ты одинок, и прекрасно…» Потом я вышел на террасу и долго глядел на море. Вдали на горизонте ни одного паруса, на левом берегу в лиловатой мгле горы, сады, башни, дома, на всем играет солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то…

XVII

Она по-прежнему приходила ко мне по утрам пить кофе, но мы уже не обедали вместе; ей, как она говорила, не хотелось есть, и питалась она только кофе, чаем и разными пустяками вроде апельсинов и карамели.

И разговоров у нас по вечерам уже не было. Не знаю, почему так. После того, как я застал ее в слезах, она стала относиться ко мне как-то слегка, подчас небрежно, даже с иронией, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшным, удивительным, героическим и что возбуждало в ней зависть и восторг, теперь не трогало ее вовсе, и обыкновенно, выслушав меня, она слегка потягивалась и говорила:

— Да, было дело под Полтавой, сударь мой, было.

Случалось даже, что я не встречался с ней по целым дням. Бывало, постучишься робко и виновато в ее дверь — ответа нет; постучишься еще раз — молчание… Стоишь около двери и слушаешь; но вот мимо проходит горничная и холодно

заявляет: «Madame est partie».[22] Затем ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь… Какие-то англичане, полногрудые дамы, гарсоны во фраках… И когда я долго смотрю на длинный полосатый ковер, который тянется через весь коридор, мне приходит на мысль, что в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль и что уже не в моих силах изменить эту роль; я бегу к себе в номер, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мне хочется жить и что чем некрасивее, суше и черствее становится ее лицо, тем она ближе ко мне и тем сильнее и больней я чувствую наше родство. Пусть я «сударь мой», пусть этот легкий, пренебрежительный тон; пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мне теперь страшно одному.

Потом я опять выхожу в коридор, с тревогой прислушиваюсь… Я не обедаю, не замечаю, как наступает вечер. Наконец часу в одиннадцатом слышатся знакомые шаги и на повороте около лестницы показывается Зинаида Федоровна.

— Прогуливаетесь? — спрашивает она, проходя мимо. — Вы бы лучше шли наружу… Спокойной

---

[22] Примечания: 22
Мадам уехала (*франц.*).

ночи!

— Но разве мы уже не увидимся сегодня?

— Уже поздно, кажется. Впрочем, как хотите.

— Скажите, где вы были? — спрашиваю я, входя за нею в номер.

— Где? В Монте-Карло. — Она достает из кармана штук десять золотых монет и говорит: — Вот, сударь мой. Выиграла. Это в рулетку.

— Ну, вы не станете играть.

— Отчего же? Я и завтра опять поеду.

Я воображал, как она с нехорошим, болезненным лицом, беременная, сильно затянутая, стоит около игорного стола в толпе кокоток, выживших из ума старух, которые жмутся у золота, как мухи у меда, вспоминал, что она уезжала в Монте-Карло почему-то тайно от меня…

— Я не верю вам, — сказал я однажды. — Вы не поедете туда.

— Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.

— Дело не в проигрыше, — сказал я с досадой. — Разве вам не приходило на мысль, когда вы там играли, что блеск золота, все эти женщины, старые и молодые, крупье, вся обстановка, что все это — подлая, гнусная насмешка над трудом рабочего, над кровавым потом?

— Если не играть, то что же тут делать? —

спросила она. — И труд рабочего, и кровавый пот — это красноречие вы отложите до другого раза, а теперь, раз вы начали, то позвольте мне продолжать; позвольте мне поставить ребром вопрос: что мне тут делать и что я буду делать?

— Что делать? — сказал я, пожав плечами. — На этот вопрос нельзя ответить сразу.

— Я прошу ответа по совести, Владимир Иваныч, — сказала она, и лицо ее стало сердитым. — Раз я решилась задать вам этот вопрос, то не для того, чтобы слышать общие фразы. Я вас спрашиваю, — продолжала она, стуча ладонью по столу, как бы отбивая такт, — что я должна здесь делать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?

Я молчал и смотрел в окно на море. Сердце у меня страшно забилось.

— Владимир Иваныч, — сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. — Владимир Иваныч, если вы сами не верите в дело, если вы уже не думаете вернуться к нему, то зачем… зачем вы тащили меня из Петербурга? Зачем обещали и зачем возбудили во мне сумасшедшие надежды? Убеждения ваши изменились, вы стали другим человеком, и никто не винит вас в этом — убеждения не всегда в нашей власти, но… но, Владимир Иваныч, бога ради,

зачем вы неискренни? — продолжала она тихо, подходя ко мне. — Когда я все эти месяцы мечтала вслух, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый лад, то почему вы не говорили мне правды, а молчали или поощряли рассказами и держали себя так, как будто вполне сочувствовали мне? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться в своем банкротстве, — проговорил я, оборачиваясь, но не глядя на нее. — Да, я не верю, утомился, пал духом… Тяжело быть искренним, страшно тяжело, и я молчал. Не дай бог никому пережить то, что я пережил.

Мне показалось, что я сейчас заплачу, и я замолчал.

— Владимир Иваныч, — сказала она и взяла меня за обе руки. — Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти. Согласитесь, ведь я живой, чувствующий и рассуждающий человек. Попасть в ложное положение… играть какую-то нелепую роль… мне это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю вас, а только прошу.

Принесли чай.

— Ну, что же? — спросила Зинаида Федоровна, подавая мне стакан. — Что вы мне скажете?

— Не только свету, что в окне, — ответил я. — И кроме меня есть люди, Зинаида Федоровна.

— Так вот укажите мне их, — живо сказала она. — Я об этом только и прошу вас.

— И еще я хочу сказать, — продолжал я. — Служить идее можно не в одном каком-нибудь поприще. Если ошиблись, изверились в одном, то можно отыскать другое. Мир идей широк и неисчерпаем.

— Мир идей! — проговорила она и насмешливо поглядела мне в лицо. — Так уж лучше мы перестанем… Что уж тут…

Она покраснела.

— Мир идей! — повторила она и отбросила салфетку в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. — Все эти ваши прекрасные идеи, я вижу, сводятся к одному неизбежному, необходимому шагу: я должна сделаться вашею любовницей. Вот что нужно. Носиться с идеями и не быть любовницей честнейшего, идейнейшего человека — значит не понимать идей. Надо начинать с этого… то есть с любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Федоровна, — сказал я.

— Нет, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша. — Я искренна.

— Вы искренни, быть может, но вы заблуждаетесь, и мне больно слушать вас.

— Я заблуждаюсь! — засмеялась она. — Кто бы говорил, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вам неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Ведь любите?

Я пожал плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмешливо. — Когда вы были больны, я слышала, как вы бредили, потом постоянно эти обожающие глаза, вздохи, благонамеренные разговоры о близости, духовном родстве… Но, главное, почему вы до сих пор были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о том, чего нет? Сказали бы с самого начала, какие собственно идеи заставили вас вытащить меня из Петербурга, так бы уж я и знала. Отравилась бы тогда, как хотела, и не было бы теперь этой нудной комедии… Э, да что говорить! — она махнула на меня рукой и села.

— Вы говорите таким тоном, как будто подозреваете во мне бесчестные намерения, — обиделся

я.

— Ну, да уж ладно. Что уж тут. Я не намерения подозреваю в вас, а то, что у вас никаких намерений не было. Будь они у вас, я бы уж знала их. Кроме идей и любви, у вас ничего не было. Теперь идеи и любовь, а в перспективе — я любовница. Таков уж порядок вещей и в жизни и в романах… Вот вы бранили его, — сказала она и ударила ладонью по столу, — а ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи.

— Он не презирает идей, а боится их, — крикнул я. — Он трус и лжец.

— Ну, да уж ладно! Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы в Петербурге, а вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману, а вы…

— Бога ради, зачем вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя к ней. — Нет, Зинаида Федоровна, нет, это цинизм, нельзя так отчаиваться, выслушайте меня, — продолжал я, ухватившись за мысль, которая вдруг неясно блеснула у меня в голове и, казалось, могла еще спасти нас обоих. — Слушайте меня. Я испытал на своем веку много, так много, что теперь при воспоминании голова кружится, и я теперь креп-

ко понял мозгом, своей изболевшей душой, что назначение человека или ни в чем, или только в одном — в самоотверженной любви к ближнему. Вот куда мы должны идти и в чем наше назначение! Вот моя вера!

Дальше я хотел говорить о милосердии, о всепрощении, но голос мой вдруг зазвучал неискренно, и я смутился.

— Мне жить хочется! — проговорил я искренно. — Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вот этого моря, вашей близости! О, как бы я хотел внушить и вам эту страстную жажду жизни! Вы только что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выражения лица…

Она покраснела и сказала быстро, чтобы помешать мне говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у нас разные.

Она налила себе чаю, но не дотронулась до него, пошла в спальню и легла.

— Я полагаю, нам бы лучше прекратить этот разговор, — сказала она мне оттуда. — Для меня все уже кончено, и ничего мне не нужно… Что ж тут разговаривать еще!

— Нет, не все кончено!

— Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоело… Будет.

Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. Когда потом, поздно ночью, я подошел к ее двери и прислушался, мне явственно послышался плач.

На другой день утром лакей, подавая мне платье, сообщил с улыбкой, что госпожа из тринадцатого номера родит. Я кое-как оделся и, замирая от ужаса, поспешил к Зинаиде Федоровне. В ее номере находились доктор, акушерка и пожилая русская дама из Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступил порог, как из комнаты, где лежала она, послышался тихий, жалобный стон, и точно это ветер донес мне его из России, я вспомнил Орлова, его иронию, Полю, Неву, снег хлопьями, потом пролетку без фартука, пророчество, какое я прочел на холодном утреннем небе, и отчаянный крик: «Нина! Нина!»

— Вы сходите к ней, — сказала дама.

Я зашел к Зинаиде Федоровне с таким чувством, как будто я был отцом ребенка. Она лежала с закрытыми глазами, худая, бледная, в белом чепчике с кружевами. Помню, два выражения были на ее лице: одно равнодушное, холодное, вялое, другое детское и беспомощное, какое придавал

ей белый чепчик. Она не слышала, как я вошел, или, быть может, слышала, но не обратила на меня внимания. Я стоял, смотрел на нее и ждал.

Но вот лицо ее покривилось от боли, она открыла глаза и стала глядеть в потолок, как бы соображая, что с ней… На ее лице выразилось отвращение.

— Гадко, — прошептала она.

— Зинаида Федоровна, — позвал я слабо.

Она равнодушно, вяло поглядела на меня и закрыла глаза. Я постоял немного и вышел.

Ночью Дарья Михайловна сообщила мне, что родилась девочка, но что роженица в опасном положении; потом по коридору бегали, был шум. Опять приходила ко мне Дарья Михайловна и с отчаянным лицом, ломая руки, говорила:

— О, это ужасно! Доктор подозревает, что она приняла яд! О, как нехорошо ведут себя здесь русские!

А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась.

XVIII

Прошло два года. Обстоятельства изменились, я опять приехал в Петербург и мог жить тут, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительным и весь ушел в отеческое или, вернее, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мне Соня, дочь Зинаиды Федоровны. Я кормил ее из своих рук, купал, укладывал спать, не сводил с нее глаз по целым ночам и вскрикивал, когда мне казалось, что нянька ее сейчас уронит. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни с течением времени становилась все сильнее и раздражительнее, но широкие мечты остановились около Сони, как будто нашли в ней, наконец, именно то, что мне нужно было. Я любил эту девочку безумно. В ней я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею.

Судьба Сони пугала меня. Отцом ее был Орлов,

в метрическом свидетельстве она называлась Красновскою, а единственный человек, который знал об ее существовании и для которого оно было интересно, то есть я, уже дотягивал свою песню. Нужно было подумать о ней серьезно.

На другой же день по приезде в Петербург я отправился к Орлову. Отворил мне толстый старик с рыжими бакенами и без усов, по-видимому немец. Поля, убиравшая в гостиной, не узнала меня, но зато Орлов узнал тотчас же.

— А, господин крамольник! — сказал он, оглядывая меня с любопытством и смеясь. — Какими судьбами?

Он нисколько не изменился: все то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой кости. Очевидно, читал до моего прихода. Он усадил меня, предложил сигару и с деликатностью, свойственною только отлично воспитанным людям, скрывая неприятное чувство, какое возбуждали в нем мое лицо и моя тощая фигура, заметил вскользь, что я нисколько не изменился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я оброс бородою. Поговорили о погоде, о Париже. Чтобы поскорее отделаться от тяжелого неизбежного во-

проса, который томил и его и меня, он спросил:

— Зинаида Федоровна умерла?

— Да, умерла, — ответил я.

— От родов?

— Да, от родов. Доктор подозревал другую причину смерти, но… и для вас и для меня покойнее думать, что она умерла от родов.

Он вздохнул из приличия и помолчал. Пролетел тихий ангел.

— Так-с. А у меня все по-старому, никаких особенных перемен, — живо заговорил он, заметив, что я оглядываю кабинет. — Отец, как вы знаете, в отставке и уже на покое, я все там же. Пекарского помните? Он все такой же. Грузин в прошлом году умер от дифтерита. Ну-с, Кукушкин жив и частенько вспоминает о вас. Кстати, — продолжал Орлов, застенчиво опуская глаза, — когда Кукушкин узнал, кто вы, то стал везде рассказывать, что вы будто учинили на него нападение, хотели его убить, и он едва спасся.

Я промолчал.

— Старые слуги не забывают своих господ… Это очень мило с вашей стороны, — пошутил Орлов. — Однако не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.

— Нет, благодарю. Я к вам по очень важному

делу, Георгий Иваныч.

— Я не охотник до важных дел, но вам рад служить. Что прикажете?

— Видите ли, — начал я, волнуясь, — со мной в настоящее время находится здесь дочь покойной Зинаиды Федоровны… До сих пор я занимался ее воспитанием, но, как видите, не сегодня-завтра я превращусь в звук пустой. Мне хотелось бы умереть с мыслью, что она пристроена.

Орлов слегка покраснел, нахмурился и сурово, мельком взглянул на меня. На него неприятно подействовало не столько «важное дело», как слова мои о превращении в звук пустой, о смерти.

— Да, об этом надо подумать, — сказал он, заслоняя глаза, как от солнца. — Благодарю вас. Вы говорите, девочка?

— Да, девочка. Чудная девочка!

— Так. Это, конечно, не мопс, а человек… понятно, надо серьезно подумать. Я готов принять участие и… и очень обязан вам.

Он встал, прошелся, кусая ногти, и остановился перед картиной.

— Об этом надо подумать, — сказал он глухо, стоя ко мне спиной. — Я сегодня побываю у Пекарского и попрошу его съездить к Красновскому. Думаю, что Красновский не будет долго ломаться

и согласится взять эту девочку.

— Но, простите, я не знаю, при чем тут Красновский, — сказал я, тоже вставая и подходя к картине в другом конце кабинета.

— Но ведь она носит его фамилию, надеюсь! — сказал Орлов.

— Да, он, быть может, обязан по закону принять к себе этого ребенка, я не знаю, но я пришел к вам, Георгий Иваныч, не для того, чтобы говорить о законах.

— Да, да, вы правы, — живо согласился он. — Я, кажется, говорю вздор. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудим, ко взаимному удовольствию. Не одно, так другое, не другое, так третье, а так или иначе этот щекотливый вопрос будет решен. Пекарский все устроит. Вы будете добры, оставите мне свой адрес, и я сообщу вам немедленно то решение, к какому мы придем. Вы где живете?

Орлов записал мой адрес, вздохнул и сказал с улыбкой:

— Что за комиссия, создатель, быть малой дочери отцом! Но Пекарский все устроит. Это «вумный» мужчина. А вы долго прожили в Париже?

— Месяца два.

Мы помолчали. Орлов, очевидно, боялся, что я

опять заговорю о девочке, и, чтобы отвлечь мое внимание в другую сторону, сказал:

— Вы, вероятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроение я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азиат, лошадиный смех — это мило и характерно, — продолжал он, иронически улыбаясь. — И основная мысль, пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. То есть, — замялся он, — спорить не с самою мыслью, а с вашим отношением к вопросу, с вашим, так сказать, темпераментом. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни к чему, и начать новую жизнь мне мешает трусость, — тут вы совершенно правы. Но что вы так близко принимаете это к сердцу, волнуетесь и приходите в отчаяние, — это не резон, тут вы совсем не правы.

— Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как погибает сам и вокруг гибнут другие.

— Кто говорит! Я вовсе не проповедую равнодушия, а хочу только объективного отношения к жизни. Чем объективнее, тем меньше риску впасть в ошибку. Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех причин.

Мы ослабели, опустились, пали наконец, наше поколение всплошную состоит из неврастеников и нытиков, мы только и знаем, что толкуем об усталости и переутомлении, но виноваты в этом не вы и не я: мы слишком мелки, чтобы от нашего произвола могла зависеть судьба целого поколения. Тут, надо думать, причины большие, общие, имеющие с точки зрения биологической свой солидный rasion d'être.[23] Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть может, это нужно и полезно для тех поколений, которые будут жить после нас. Ни единый волос не падает с головы без воли отца небесного, — другими словами, в природе и в человеческой среде ничто не творится так себе. Все обосновано и необходимо. А если так, то чего же нам особенно беспокоиться и писать отчаянные письма?

— Так-то так, — сказал я, подумав. — Я верю, следующим поколениям будет легче и видней; к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную

---

[23] Примечания: 23
Смысл (*франц.*).

роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того… Я верю и в целесообразность и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»?

— Ну, что делать! — вздохнул Орлов, поднимаясь и как бы давая понять, что разговор наш уже кончен.

Я взялся за шапку.

— Только полчаса посидели, а сколько вопросов решили, подумаешь! — говорил Орлов, провожая меня до передней. — Так я позабочусь о том… Сегодня же повидаюсь с Пекарским. Будьте без сумления.

Он остановился в ожидании, пока я оденусь, и, видимо, чувствовал удовольствие от того, что я сейчас уйду.

— Георгий Иваныч, возвратите мне мое письмо, — сказал я.

— Слушаю-с.

Он пошел в кабинет и через минуту вернулся с письмом. Я поблагодарил и вышел.

На другой день я получил от него записку. Он поздравлял меня с благополучным решением вопроса. У Пекарского есть знакомая дама, писал он,

которая держит пансион, что-то вроде детского сада, куда принимаются даже очень маленькие дети. На даму можно положиться вполне, но, прежде чем входить с нею в соглашение, не мешает переговорить с Красновским — этого требует формальность. Советовал мне немедленно отправиться к Пекарскому и, кстати, прихватить с собою метрическое свидетельство, если таковое имеется. «Примите уверение в искреннем уважении и преданности вашего покорного слуги…»

Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.

1893

Три года

I

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всенощная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всенощной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер.

Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол; он с недоумением посматривал на темные, неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, — разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов — и все в

таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить.

Всенощная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни — это была иллюминация по случаю храмового праздника, — а народ все шел не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос, сердце его сильно забилось, и оттого, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние.

«Это ужасно, ужасно! — шептал он, ревнуя ее. — Это ужасно!»

На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева.

— А я к вам, — сказал он. — Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?

— Вероятно, — ответила она. — В клуб ему еще рано.

Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне

совершенно утопали в потемках; слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в бога и ходил ко всенощной и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда.

Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни.

— Я была у нее сегодня утром, — сказала Юлия Сергеевна, — и мне показалось, что за эту неделю она не то чтобы похудела, а поблекла.

— Да, да, — согласился Лаптев. — Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится все слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней.

— Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая! — проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. — Ее здесь все так и звали московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней.

Доктор Сергей Борисыч был дома; полный, красный, в длинном ниже колен сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с больным грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам.

— Тебя желает видеть мсье Лаптев, — сказала ему дочь, входя в кабинет.

— Ру-ру-ру-ру, — запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил: — Что скажете хорошенького?

Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство; он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет,

и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита.

— Скажите, — спросил он, — не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?

Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест.

Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он все смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом.

Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова.

В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными; в обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры?

И он стал говорить о медицине то, что о ней обыкновенно говорят, похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за пять-шесть копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви.

Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости.

— Но я не тороплюсь с ночлежным домом, — продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-

то тускло и с недоумением, очевидно не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. — И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание.

Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

— Виновата, — сказала она, — мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста.

— Ру-ру-ру-ру, — запел доктор. — Ру-ру-ру-ру.

Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев немного погодя простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какою пошлостью веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных! Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. «Но какая наивная, провинциальная луна, какие тощие, жалкие облака!» — думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о ночлежном доме, он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять будет пытаться увидеть ее и говорить с ней и еще раз убедится, что он для нее чужой. Послезав-

тра — опять то же самое. Для чего? И когда и чем все это кончится?

Дома он пошел к сестре. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила впечатление хорошо сложенной, сильной женщины, но резкая бледность делала ее похожей на мертвую, особенно когда она, как теперь, лежала на спине, с закрытыми глазами; возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, десяти лет, и читала ей что-то из своей хрестоматии.

— Алеша пришел, — проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение: они сменяли друг друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо вышла из комнаты; Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу, какую нужно, сел и стал читать вслух.

Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице, в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное; отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать чем-то долго болела и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемерная; часто приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и

лицемерные; они пили и закусывали и грубо льстили ее отцу, которого не любили. Мальчикам посчастливилось поступить в гимназию, а Нина так и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала одни только исторические романы. Лет 17 назад, когда ей было 22 года, она на даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым, помещиком, влюбилась и вышла за него замуж против воли отца, тайно. Панауров, красивый, немножко наглый, закуривающий из лампадки и посвистывающий, казался ее отцу совершенным ничтожеством, и, когда потом зять в своих письмах стал требовать приданого, старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и разные вещи, оставшиеся после матери, и 30 тысяч деньгами, но без родительского благословения; потом прислал еще 20 тысяч. Деньги эти и приданое были прожиты, имение продано, и Панауров переселился с семьей в город и поступил на службу в губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто.

Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она думала о том, как она много пережила, сколько выстрада-

ла за все время, и что если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостно. Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы.

Но вот Алексей Федорыч закрыл книгу и сказал:

— Конец и богу слава. Завтра другой начнем.

Нина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины.

— Без тебя тут до обеда приходила Юлия, — сказала она. — Как я поглядела, она не очень-то верит своему папаше. Пусть, говорит, вас лечит мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся старец какой-то. Юличка у меня зонтик свой забыла, ты ей пошли завтра, — продолжала она, помолчав немного. — Нет, уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы.

— Нина, отчего ты по ночам не спишь? — спросил Лаптев, чтобы переменить разговор.

— Да так. Не сплю, вот и все. Лежу себе и думаю.

— О чем же ты думаешь, милая?

— О детях, о тебе… о своей жизни. Я ведь, Алеша, много пережила. Как начнешь вспоминать, как начнешь… Господи боже мой! — Она засмеялась. — Шутка ли, пять раз рожала, троих похоронила… Бывало, собираешься родить, а мой Григорий Николаич в это время у другой сидит, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь в сени или в кухню за прислугой, а там жиды, лавочники, ростовщики — ждут, когда он домой вернется. Голова, бывало, кружится… он не любил меня, хоть и не высказывал этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло от сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было, — обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз — это еще в деревне было — застала я его в саду с одною дамой, и ушла я… ушла, куда глаза мои глядят, и не знаю, как очутилась на паперти, упала на колени: «Царица, говорю, небесная!» А на дворе ночь, месяц светит…

Она утомилась, стала задыхаться; потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом:

— Какой ты, Алеша, добрый… Какой ты умный… Какой из тебя хороший человек вышел!

В полночь Лаптев простился с нею и, уходя,

взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное: разбилось в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно, даже теперь гудел; рассказывали, что из ботинка Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь. И страшное значение всех этих примет было уже известно детям; старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь исподлобья.

Лаптев спустился к себе в нижний этаж, в комнаты с низкими потолками, где постоянно пахло геранью и было душно. В гостиной у него сидел Панауров, муж Нины Федоровны, и читал газету. Лаптев кивнул ему головой и сел против. Оба сидели и молчали. Случалось, что так молча они проводили целые вечера, и это молчание не стесняло их.

Пришли сверху девочки прощаться. Панауров молча, не спеша, несколько раз перекрестил обеих и дал им поцеловать свою руку, они сделали реверанс, затем подошли к Лаптеву, который тоже должен был крестить их и давать им целовать свою руку. Эта церемония с поцелуями и реверансами повторялась каждый вечер.

Когда девочки вышли, Панауров отложил в сторону газету и сказал:

— Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, дорогой мой, — добавил он со вздохом, — я очень рад, что вы наконец нашли себе развлечение.

— Вы о чем это? — спросил Лаптев.

— Давеча я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. Надеюсь, вы ходили туда не ради папаши.

— Конечно, — сказал Лаптев и покраснел.

— Ну, конечно. А кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет,

а есть только дикость, подлость, мерзость — и больше ничего. Возьмите вы здешних жрецов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. Можете ли себе представить, здесь в городе 28 докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах, а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадобилось сделать Нине операцию, в сущности пустую, а ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы — здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. Спросите-ка их, например, что такое рак? Что? Отчего он происходит?

И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно все, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он все как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно и слова «вы не можете себе представить» произносил умоляющим голосом, щурил глаза, томно вздыхал и улыбался милостиво, как король, и видно было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже 50 лет.

— Мне что-то есть захотелось, — сказал Лап-

тев. — Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого.

— Ну что ж? Это можно сейчас устроить.

Немного погодя Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино, Панауров же ничего не пил. Он никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, все-таки прожил свое и женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Панауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклоны лакеев, которым небрежно бросал на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым именинницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи, древности, ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и т. п., и на все это ежедневно уходила, как сам он выражался, «прорва» денег.

За ужином он все вздыхал и покачивал головой.

— Да, все на этом свете имеет конец, — тихо говорил он, щуря свои темные глаза. — Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла, вы будете страдать, приходить в отчаяние и сами будете изменять. Но настанет время, когда все это станет уже воспоминанием и вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками…

А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любят этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека.

После ужина Панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Панауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехоконных домиков и кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые перчатки производили всякий раз и странное, и грустное впечатление.

Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша. Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его

непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам.

— Я люблю! — произнес он вслух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег, и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу, и все бежать без оглядки.

Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, ему казалось, что около него даже пахнет счастьем.

Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву, к одному из своих друзей:

«Милый, дорогой Костя, вот вам новость: я опять люблю! Говорю *опять* потому, что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известною вам „особой“ — женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви! Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю *опять*, то потому только, что как-то грустно и обидно сознаваться перед самим

собой, что молодость моя прошла вовсе без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года. Пусть будет *опять* люблю.

Если бы вы знали, что это за девушка! Красавицей ее назвать нельзя — у нее широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбается! Голос ее, когда она говорит, поет и звенит. Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах. По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но все же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю… Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя, и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.

Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого

отдавать в приготовительный класс, и до сих пор еще называет вас *бедный,* так как у нее сохранилось воспоминание о вас как о сироте-мальчике. Итак, бедный сирота, я люблю. Пока это секрет, ничего не говорите *там* известной вам „особе“. Это, я думаю, само собой уладится, или, как говорит лакей у Толстого, *образуется* …»

Кончив письмо, Лаптев лег в постель. От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо и играли на рожке, потом вскоре зазвонили к ранней обедне. То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали все время.

II

Утро было веселое, праздничное. Часов в десять Нину Федоровну, одетую в коричневое платье, причесанную, вывели под руки в гостиную, и здесь она прошлась немного и постояла у открытого окна, и улыбка у нее была широкая, наивная, и при взгляде на нее вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл ее лицо ликом и хотел писать с нее русскую Масленицу. И у всех — у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Федорыча, и у нее самой — явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет. Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его, и в доме стало шумно.

Приходили чужие справиться насчет ее здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквах служили молебны. Она в своем городе была благотворительницей, ее любили. Благотворила она с необыкновенной легкостью, так же, как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. Нина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест, и если ей в

руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чьем-нибудь бедственном положении.

Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки, ее просители, забирали товар в бакалейной лавке и которые накануне прислал ей купец с просьбой уплатить 82 рубля.

— Ишь ты, сколько набрали, бессовестные! — говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. — Шутка ли? Восемьдесят два! Возьму вот и не отдам.

— Я сегодня заплачу, — сказал Лаптев.

— Зачем это, зачем? — встревожилась Нина Федоровна. — Довольно и того, что я каждый месяц по 250 получаю от тебя и брата. Спаси вас господи, — добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

— Ну, а я в месяц две тысячи пятьсот проживаю, — сказал он. — Я тебе еще раз повторяю, милая: ты имеешь такое же право тратить, как я и Федор. Пойми это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе.

Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и

смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыхание: это вверх по лестнице поднимался доктор, по обыкновению растрепанный и нечесаный.

— Ру-ру-ру, — напевал он. — Ру-ру.

Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую, потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто — дело невозможное; и встречаться с этим «одром», как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной. Он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне ее зонтик, то, наверное, он застанет дома ее одну, и сердце у него сжалось от радости. Скорей, скорей!

Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора, в громадном дворе, поросшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Все это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых, неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался ремонтировать и все откладывал. Раздавались звонкие, здоровые

голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад, и смотрела на игру.

— Здравствуйте! — окликнул Лаптев.

Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушною, холодною или, как вчера, усталою, теперь же выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч.

— Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело, — говорила она, идя к нему навстречу. — Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде. А папа только что пошел к вам, — добавила она, оглядываясь на детей.

— Я знаю, но я не к нему, а к вам, — сказал Лаптев, любуясь ее молодостью, которой не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней; ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотою цепочкой он видел теперь только в первый раз. — Я к вам… — повторил он. — Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком:

— Прошу вас, подарите мне его. Я сохраню на

память о вас… о нашем знакомстве. Он такой чудесный!

— Возьмите, — сказала она и покраснела. — Но чудесного ничего в нем нет.

Он смотрел на нее с упоением, молча и не зная, что сказать.

— Что же это я держу вас на жаре? — сказала она после некоторого молчания и рассмеялась. — Пойдемте в комнаты.

— А я вас не обеспокою?

Вошли в сени. Юлия Сергеевна побежала наверх, шумя своим платьем, белым, с голубыми цветочками.

— Меня нельзя обеспокоить, — ответила она, останавливаясь на лестнице, — я ведь никогда ничего не делаю. У меня праздник каждый день, от утра до вечера.

— Для меня то, что вы говорите, непонятно, — сказал он, подходя к ней. — Я вырос в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины.

— А если нечего делать? — спросила она.

— Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни.

Он опять прижал к груди зонтик и сказал тихо,

неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

— Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдал. Я бы все отдал... Нет цены, нет жертвы, на какую бы я не пошел.

Она вздрогнула и посмотрела на него с удивлением и страхом.

— Что вы, что вы! — проговорила она, бледнея. — Это невозможно, уверяю вас. Извините.

Затем быстро, все так же шумя платьем, пошла выше и скрылась в дверях.

Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменилось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Испытывая стыд, унижение человека, которым пренебрегли, который не нравится, противен, быть может, гадок, от которого бегут, он вышел из дому.

«Отдал бы все, — передразнил он себя, идя домой по жаре и вспоминая подробности объяснения. — Отдал бы все — совсем по-купечески. Очень кому нужно это твое все!»

Все, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до отвращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без исключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной жизни? Это не умно, не ин-

тересно, фальшиво — фальшиво по-московски. Но вот мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают преступники после сурового приговора, он думал уже о том, что, слава богу, теперь все уже прошло, и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать, томиться, думать все об одном; теперь все ясно; нужно оставить всякие надежды на личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нянчиться, можно заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит старость, жизнь придет к концу — и больше ничего не нужно. Ему уж было все равно, он ничего не хотел и мог холодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тяжесть, лоб напрягался, как резина, — вот-вот брызнут слезы. Чувствуя во всем теле слабость, он лег в постель и минут через пять крепко уснул.

III

Предложение, которое так неожиданно сделал Лаптев, привело Юлию Сергеевну в отчаяние.

Она знала Лаптева немного, познакомилась с ним случайно; это был богатый человек, представитель известной московской фирмы «Федор Лаптев и сыновья», всегда очень серьезный, по-видимому умный, озабоченный болезнью сестры; казалось ей, что он не обращал на нее никакого внимания, и сама она была к нему совершенно равнодушна, — и вдруг это объяснение на лестнице, это жалкое, восхищенное лицо…

Предложение смутило ее и своею внезапностью, и тем, что произнесено было слово *жена*, и тем, что пришлось ответить отказом. Она уже не помнила, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать следы того порывистого, неприятного чувства, с каким отказала ему. Он не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, сам он был не интересен, она не могла ответить иначе, как отказом, но все же ей было неловко, как будто она поступила дурно.

— Боже мой, не входя в комнаты, прямо на лестнице, — говорила она с отчаянием, обращаясь к

образку, который висел над ее изголовьем, — и не ухаживал раньше, а как-то странно, необыкновенно…

В одиночестве с каждым часом ее тревога становилась все сильнее, и ей одной было не под силу справиться с этим тяжелым чувством. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушал ее и сказал ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не с кем. Матери у нее не было уже давно, отца считала она странным человеком и не могла говорить с ним серьезно. Он стеснял ее своими капризами, чрезмерною обидчивостью и неопределенными жестами; и стоило только завести с ним разговор, как он тотчас же начинал говорить о себе самом. И во время молитвы она не была вполне откровенной, так как не знала наверное, чего, собственно, ей нужно просить у бога.

Подали самовар. Юлия Сергеевна, очень бледная, усталая, с беспомощным видом, вышла в столовую, заварила чай — это было на ее обязанности — и налила отцу стакан. Сергей Борисыч, в своем длинном сюртуке ниже колен, красный, не причесанный, заложив руки в карманы, ходил по столовой, не из угла в угол, а как придется, точно зверь в клетке. Остановится у стола, отопьет из стакана с аппетитом и опять ходит, и о чем-то

все думает.

— Мне сегодня Лаптев сделал предложение, — сказала Юлия Сергеевна и покраснела.

Доктор поглядел на нее и как будто не понял.

— Лаптев? — спросил он. — Брат Панауровой?

Он любил дочь; было вероятно, что она рано или поздно выйдет замуж и оставит его, но он старался не думать об этом. Его пугало одиночество, и почему-то казалось ему, что если он останется в этом большом доме один, то с ним сделается апоплексический удар, но об этом он не любил говорить прямо.

— Что ж, я очень рад, — сказал он и пожал плечами. — От души тебя поздравляю. Теперь представляется тебе прекрасный случай расстаться со мной, к великому твоему удовольствию. И я вполне тебя понимаю. Жить у старика-отца, человека больного, полоумного, в твои годы, должно быть, очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я околел поскорей, и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. От души поздравляю.

— Я ему отказала.

У доктора стало легче на душе, но он уже был не в силах остановиться и продолжал:

— Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня

до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не горячечная рубаха? Я верю еще в правду, в добро, я дурак-идеалист, а разве в наше время это не сумасшествие? И как мне отвечают на мою правду, на мое честное отношение? В меня чуть не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие родные стараются только ездить на моей шее, черт бы побрал меня, старика болвана…

— С вами нельзя говорить по-человечески! — сказала Юлия.

Она порывисто встала из-за стола и ушла к себе, в сильном гневе, вспоминая, как часто отец бывал к ней несправедлив. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда он уходил в клуб, она проводила его вниз и сама заперла за ним дверь. А на дворе была погода нехорошая, беспокойная; дверь дрожала от напора ветра, и в сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человеку только потому, что ей

не нравится его наружность? Правда, это нелюбимый человек и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятиями о счастье и супружеской жизни, но встретит ли она когда-нибудь того, о ком мечтала, и полюбит ли? Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Она представила себе всех знакомых мужчин — чиновников, педагогов, офицеров, и одни из них были уже женаты и их семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же, как бы ни было, москвич, кончил в университете, говорит по-французски; он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей, где шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские… В Священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа, и в романах любви придается громадное значение, но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит и остается одна привычка и что самая цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях, например в воспитании детей, в заботах по хозяйству и проч. Да и Священное писание, быть может, имеет в

виду любовь к мужу как к ближнему, уважение к нему, снисхождение.

Ночью Юлия Сергеевна внимательно прочла вечерние молитвы, потом стала на колени и, прижав руки к груди, глядя на огонек лампадки, говорила с чувством:

— Вразуми, заступница! Вразуми, господи!

Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, что когда-то отказывали своим женихам. Не случится ли с ней то же самое? Не пойти ли ей в монастырь или в сестры милосердия?

Она разделась и легла в постель, крестясь и крестя вокруг себя воздух. Вдруг в коридоре резко и жалобно прозвучал звонок.

— Ах, боже мой! — проговорила она, чувствуя от этого звонка болезненное раздражение во всем теле. Она лежала и все думала о том, как эта провинциальная жизнь бедна событиями, однообразна и в то же время беспокойна. То и дело приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы в конце концов портятся до такой степени, что страшно бывает выглянуть из-под одеяла.

Через полчаса опять раздался звонок и такой

же резкий. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлия Сергеевна зажгла свечу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одеваться, и когда, одевшись, вышла в коридор, то внизу горничная уже запирала дверь.

— Думала, что барин, а это от больного приезжали, — сказала она.

Юлия Сергеевна вернулась к себе. Она достала из комода колоду карт и решила, что если хорошо стасовать карты и потом снять и если под низом будет красная масть, то это значит *да*, т. е. надо согласиться на предложение Лаптева, если же черная, то *нет*. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утром опять уже не было ни *да*, ни *нет*, и она думала о том, что может теперь, если захочет, переменить свою жизнь. Мысли утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же в начале двенадцатого часа оделась и пошла проведать Нину Федоровну. Ей хотелось увидеть Лаптева: быть может, теперь он покажется ей лучше; быть может, она ошибалась до сих пор…

Ей трудно было идти против ветра, она едва шла, придерживая обеими руками шляпу, и ничего не видела от пыли.

IV

Войдя к сестре и увидев неожиданно Юлию Сергеевну, Лаптев опять испытал унизительное состояние человека, который противен. Он заключил, что если она так легко может после вчерашнего бывать у сестры и встречаться с ним, то, значит, она не замечает его или считает полнейшим ничтожеством. Но когда он здоровался с ней, она, бледная, с пылью под глазами, поглядела на него печально и виновато; он понял, что она тоже страдает.

Ей нездоровилось. Посидела она очень недолго, минут десять, и стала прощаться. И, уходя, сказала Лаптеву:

— Проводите меня домой, Алексей Федорыч.

По улице шли они молча, придерживая шляпы, и он, идя сзади, старался заслонить ее от ветра. В переулке было тише, и тут оба пошли рядом.

— Если я вчера была неласкова, то вы простите, — начала она, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась заплакать. — Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

— А я отлично проспал всю ночь, — сказал Лаптев, не глядя на нее, — но это не значит, что мне

хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастлив, и после вчерашнего вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня с вами я уже не чувствую стеснения и могу говорить прямо. Я люблю вас больше, чем сестру, больше, чем покойную мать… Без сестры и без матери я мог жить и жил, но жить без вас — для меня это бессмыслица, я не могу…

И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее намерения. Ему было понятно, что она хочет продолжать вчерашнее и только для этого попросила его проводить ее и теперь вот ведет к себе в дом. Но что она может еще прибавить к своему отказу? Что она придумала нового? По всему, по взглядам, по улыбке и даже по тому, как она, идя с ним рядом, держала голову и плечи, он видел, что она по-прежнему не любит его, что он чужой для нее. Что же она хочет еще сказать?

Доктор Сергей Борисыч был дома.

— Добро пожаловать, весьма рад вас видеть, Федор Алексеич, — сказал он, путая его имя и отчество. — Весьма рад, весьма рад.

Раньше он не бывал так приветлив, и Лаптев заключил, что о предложении его уже известно доктору; и это ему не понравилось. Он сидел теперь в гостиной, и эта комната производила

странное впечатление своею бедною, мещанскою обстановкой, своими плохими картинами, и хотя в ней были и кресла, и громадная лампа с абажуром, она все же походила на нежилое помещение, на просторный сарай, и было очевидно, что в этой комнате мог чувствовать себя дома только такой человек, как доктор; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой, и тут стояли одни только стулья, как в танцклассе. И Лаптева, пока он сидел в гостиной и говорил с доктором о своей сестре, стало мучить одно подозрение. Не затем ли Юлия Сергеевна была у сестры Нины и потом привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимает его предложение? О, как это ужасно, но ужаснее всего, что его душа доступна для подобных подозрений. Он представлял себе, как вчера вечером и ночью отец и дочь долго советовались, быть может, долго спорили и потом пришли к соглашению, что Юлия поступила легкомысленно, отказавши богатому человеку. В его ушах звучали даже слова, какие в подобных случаях говорятся родителями:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сделать добра!»

Доктор собрался к больным. Лаптев хотел выйти с ним вместе, но Юлия Сергеевна сказала:

— А вы останьтесь, прошу вас.

Она замучилась, пала духом и уверяла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда с этим замужеством представляется возможность изменить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходит и не предвидится в будущем ничего более светлого, отказывать при таких обстоятельствах — это безумие, это каприз и прихоть, и за это может даже наказать бог.

Отец вышел. Когда шаги его затихли, она вдруг остановилась перед Лаптевым и сказала решительно, и при этом страшно побледнела:

— Я вчера долго думала, Алексей Федорыч… Я принимаю ваше предложение.

Он нагнулся и поцеловал ей руку, она неловко поцеловала его холодными губами в голову. Он чувствовал, что в этом любовном объяснении нет главного — ее любви, и есть много лишнего, и ему хотелось закричать, убежать, тотчас же уехать в Москву, но она стояла близко, казалась ему такою прекрасной, и страсть вдруг овладела им, он сообразил, что рассуждать тут уже поздно, обнял ее страстно, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, называя ее *ты*, поцеловал ее в

шею, потом в щеку, в голову…

Она отошла к окну, боясь этих ласк, и уже оба сожалели, что объяснились, и оба в смущении спрашивали себя: «Зачем это произошло?»

— Если бы вы знали, как я несчастна! — проговорила она, сжимая руки.

— Что с вами? — спросил он, подходя к ней и тоже сжимая руки. — Дорогая моя, ради бога, говорите — что? Но только правду, умоляю вас, только одну правду!

— Не обращайте внимания, — сказала она и насильно улыбнулась. — Я обещаю вам, я буду верною, преданною женой… Приходите сегодня вечером.

Сидя потом у сестры и читая исторический роман, он вспоминал все это, и ему было обидно, что на его великолепное, чистое, широкое чувство ответили так мелко; его не любили, но предложение его приняли, вероятно, только потому, что он богат, то есть предпочли в нем то, что сам он ценил в себе меньше всего. Можно допустить, что Юлия, чистая и верующая в бога, ни разу не подумала о деньгах, но ведь она не любила его, не любила, и очевидно, у нее был расчет, хотя, быть может, и не вполне осмысленный, смутный, но все же расчет. Дом доктора был ему противен

своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, жирным скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из «Корневильских колоколов», самое имя Юлия звучало уже вульгарно. Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности совершенно незнакомые друг другу, без капли чувства с ее стороны, точно их сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак, утешение, что он не первый и не последний, что так женятся и выходят замуж тысячи людей и что Юлия со временем, когда покороче узнает его, то, быть может, полюбит.

— Ромео и Юлия! — сказал он, закрывая книгу, и засмеялся. — Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной.

Нина Федоровна думала, что он шутит, но потом поверила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

— Что ж, поздравляю, — сказала она. — Но почему же это так вдруг?

— Нет, это не вдруг. Это тянется с марта, только ты ничего не замечаешь… Я влюбился еще в марте, когда познакомился с ней вот тут, в твоей комнате.

— А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей московской, — сказала Нина Федоровна, помолчав. — Девушки из нашего круга будут попроще. Но главное, Алеша, чтобы ты был счастлив, это самое главное. Мой Григорий Николаич не любил меня, и, скрыть нельзя, ты видишь, как мы живем. Конечно, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, но ведь Юличка институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты сам, Алеша, уже не молод и не красив.

Чтобы смягчить последние слова, она погладила его по щеке и сказала:

— Ты не красив, но ты славненький.

Она разволновалась, так что даже на щеках у нее выступил легкий румянец, и с увлечением говорила о том, будет ли прилично, если она благословит Алешу образом; ведь она старшая сестра и заменяет ему мать; и она все старалась убедить своего печального брата, что надо сыграть свадьбу как следует, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затем он стал ходить к Белавиным, как жених, раза по три, по четыре в день, и уже некогда ему было сменять Сашу и читать исторический роман. Юлия принимала его в своих двух комнатах,

вдали от гостиной и отцовского кабинета, и они ему очень нравились. Тут были темные стены, в углу стоял киот с образами; пахло хорошими духами и лампадным маслом. Она жила в самых дальних комнатах, кровать и туалет ее были заставлены ширмами и дверцы в книжном шкапу задернуты изнутри зеленою занавеской, и ходила она у себя по коврам, так что совсем не было слышно ее шагов, — и из этого он заключил, что у нее скрытный характер и любит она тихую, покойную, замкнутую жизнь. В доме она была еще на положении несовершеннолетней, у нее не было собственных денег, и, случалось, во время прогулок она конфузилась, что при ней нет ни копейки. На наряды и книги выдавал ей отец понемножку, не больше ста рублей в год. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе в карты и всегда проигрывал. Кроме того, он покупал дома в обществе взаимного кредита с переводом долга и отдавал их внаймы; жильцы платили ему неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, в котором он жил с дочерью, он заложил и на эти деньги купил пустошь, и уже начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы

заложить его.

Лаптев жил теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник, и делал многое такое, чего бы он не решился сделать прежде. Он раза три ходил с доктором в клуб, ужинал с ним и сам предложил ему денег на постройку; он даже побывал у Панаурова на его другой квартире. Как-то Панауров пригласил его к себе обедать, и Лаптев, не подумав, согласился. Его встретила дама лет 35, высокая и худощавая, с легкою проседью и с черными бровями, по-видимому, не русская. На ее лице лежали белые пятна от пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, так что зазвенели на белых руках браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбается так потому, что хочет скрыть от других и от самой себя, что она несчастна. Увидел он и двух девочек пяти и трех лет, похожих на Сашу. За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад — это было слащаво и невкусно, но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей и кайенским перцем, необыкновенно вычурный судок, золотая перечница.

Только поевши молочного супу, Лаптев сообразил, как это, в сущности, было некстати, что он пришел сюда обедать. Дама была смущена,

все время улыбалась, показывая зубы. Панауров объяснял научно, что такое влюбленность и от чего она происходит.

— Мы тут имеем дело с одним из явлений электричества, — говорил он по-французски, обращаясь к даме. — В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. Если вы встречаетесь с особью, токи которой параллельны вашим, то вот вам и любовь.

Когда Лаптев вернулся домой и сестра спросила, где он был, ему стало неловко и он ничего не ответил.

Все время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении. Любовь его с каждым днем становилась все сильнее, и Юлия казалась ему поэтической и возвышенной, но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что он покупал, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, он приходил просто в отчаяние и спрашивал себя: не бежать ли? Он уже не спал по целым ночам и все думал о том, как он после свадьбы встретится в Москве с госпожой, которую в своих письмах к друзьям называл «особой», и как его отец и брат, люди тяжелые, отнесутся к его женитьбе и к Юлии. Он боялся, что отец при первой же встрече

скажет Юлии какую-нибудь грубость. А с братом Федором в последнее время происходило что-то странное. Он в своих длинных письмах писал о важности здоровья, о влиянии болезней на психическое состояние, о том, что такое религия, но ни слова о Москве и о делах. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характер брата меняется к худшему.

Свадьба была в сентябре. Венчание происходило в церкви Петра и Павла, после обедни, и в тот же день молодые уехали в Москву. Когда Лаптев и его жена, в черном платье со шлейфом, уже по виду не девушка, а настоящая дама, прощались с Ниной Федоровной, все лицо у больной покривилось, но из сухих глаз не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

— Если, не дай бог, умру, возьмите к себе моих девочек.

— О, обещаю вам! — ответила Юлия Сергеевна, и у нее тоже стали нервно подергиваться губы и веки.

— Я приеду к тебе в октябре, — сказал Лаптев, растроганный. — Выздоравливай, моя дорогая.

Они ехали в отдельном купе. Обоим было грустно и неловко. Она сидела в углу, не снимая шляпы, и делала вид, что дремлет, а он лежал

против нее на диване, и его беспокоили разные мысли: об отце, об «особе», о том, понравится ли Юлии его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, он думал уныло: «Зачем это произошло?»

V

Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальною бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч и говорили, что он был бы тысяч на сто больше, если бы старик «не раскидывался», то есть не отпускал в кредит без разбору; за последние десять лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подмигивал глазом и говорил слова, значение которых было не для всех ясно:

— Психологическое последствие века.

Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, ис-

писанными углем стенами и освещенную узким окном с железною решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это — контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и снующих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут, в амбаре, каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей.

Когда на другой день по приезде в Москву, в полдень, Лаптев пришел в амбар, то артельщики, запаковывая товар, стучали по ящикам так

громко, что в первой комнате и в конторе никто не слышал, как он вошел, по лестнице вниз спускался знакомый почтальон с пачкой писем в руке и морщился от стука, и тоже не заметил его. Первый, кто встретил его наверху, был брат Федор Федорыч, похожий на него до такой степени, что их считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало Лаптеву об его собственной наружности, и теперь, видя перед собой человека небольшого роста, с румянцем, с редкими волосами на голове, с худыми, непородистыми бедрами, такого неинтересного и неинтеллигентного на вид, он спросил себя: «Неужели и я такой?»

— Как я рад тебя видеть! — сказал Федор, целуясь с братом и крепко пожимая ему руку. — Я с нетерпением ожидал тебя каждый день, милый мой. Как ты написал, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, брат. Сам посуди, полгода не видались. Ну, что? Как? Плоха Нина? Очень?

— Очень плоха.

— Божья воля, — вздохнул Федор. — Ну, а жена твоя? Небось красавица? Я ее уже люблю, ведь она приходится мне сестреночкой. Будем ее вместе баловать.

Показалась давно знакомая Лаптеву широ-

кая, сутулая спина его отца, Федора Степаныча. Старик сидел возле прилавка на табурете и разговаривал с покупателем.

— Папаша, бог радость послал! — крикнул Федор. — Брат приехал.

Федор Степаныч был высокого роста и чрезвычайно крепкого сложения, так что, несмотря на свои восемьдесят лет и морщины, все еще имел вид здорового, сильного человека. Говорил он тяжелым, густым, гудящим басом, который выходил из его широкой груди, как из бочки. Он брил бороду, носил солдатские подстриженные усы и курил сигары. Так как ему всегда казалось жарко, то в амбаре и дома во всякое время года он ходил в просторном парусинковом пиджаке. Ему недавно снимали катаракту, он плохо видел и уже не занимался делом, а только разговаривал и пил чай с вареньем.

Лаптев нагнулся и поцеловал его в руку, потом в губы.

— Давненько не видались, милостивый государь, — сказал старик. — Давненько. Что ж, прикажешь с законным браком поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И он подставил губы для поцелуя. Лаптев нагнулся и поцеловал.

— Что ж, и барышню свою привез? — спросил старик и, не дожидаясь ответа, сказал, обращаясь к покупателю: — Сим извещаю вас, папаша, вступаю я в брак с девицей такой-то. Да. А того, чтоб у папаши попросить благословения и совета, нету в правилах. Теперь они своим умом. Когда я женился, мне больше сорока было, а я в ногах у отца валялся и совета просил. Нынче уже этого нету.

Старик обрадовался сыну, но считал неприличным приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость. Его голос, манера говорить и «барышня» навеяли на Лаптева то дурное настроение, какое он испытывал всякий раз в амбаре. Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его секли и держали на постной пище; он знал, что и теперь мальчиков секут и до крови разбивают им носы, и что когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре минут пять, как ему начало казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу.

Федор похлопал покупателя по плечу и сказал брату:

— Вот, Алеша, рекомендую, наш тамбовский кормилец Григорий Тимофеич. Может служить примером для современной молодежи: уже ше-

стой десяток пошел, а он грудных детей имеет.

Приказчики засмеялись, и покупатель, тощий старик с бледным лицом, тоже засмеялся.

— Природа сверх обыкновенного действия, — заметил старший приказчик, стоявший тут же за прилавком. — Куда вошло, оттуда и выйдет.

Старший приказчик, высокий мужчина лет 50, с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом, обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке видно было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный, тонкий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют. Например, слово «кроме». Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил:

— Кроме!

И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильевич Початкин, и родом он был из Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, он выразился так:

— С вашей стороны заслуга храбрости, так как женское сердце есть Шамиль.

Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макеичев, полный, солидный блондин с лысиной во все темя и с бакенами. Он подошел к Лаптеву и поздравил его почтительно, вполголоса:

— Честь имею-с… Господь услышал молитвы вашего родителя-с. Слава богу-с.

Затем стали подходить другие приказчики и поздравлять с законным браком. Все они были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на *о, г* произносили как латинское *g*; оттого, что почти через каждые два слова они употребляли *с*, их поздравления, произносимые скороговоркой, например фраза: «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху — «жвыссс».

Лаптеву все это скоро наскучило и захотелось домой, но уйти было неловко. Из приличия нужно было пробыть в амбаре по крайней мере два часа. Он отошел в сторону от прилавка и стал расспрашивать Макеичева, благополучно ли прошло лето и нет ли чего нового, и тот отвечал почтительно, не глядя ему в глаза. Мальчик, стриженый, в серой блузе, подал Лаптеву стакан чаю

без блюдечка; немного погодя другой мальчик, проходя мимо, спотыкнулся о ящик и едва не упал, и солидный Макеичев вдруг сделал страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнул на него:

— Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяин женился и наконец приехал; они поглядывали на него с любопытством и приветливо, и каждый, проходя мимо, считал долгом сказать ему почтительно что-нибудь приятное. Но Лаптев был убежден, что все это неискренно и что ему льстят потому, что боятся его. Он никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев «плантаторы!» — вместо «эксплоататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степаныч держался какой-то азиатской политики. Так, никому не было известно, сколько жалованья получали его любимцы Початкин и Макеичев; получали они по три тысячи в год

вместе с наградными, не больше, он же делал вид, что платит им по семи; наградные выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало должен был из самолюбия говорить, что получил много; ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчики; ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что — нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: «А ну-ка дыхни!»

Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от Флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и

за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали.

Лаптев сознавал, что из них разве одни только испорченные стариковским воспитанием серьезно могли считать его благодетелем, остальные же видели в нем врага и «плантатора». Теперь после полугодового отсутствия он не видел перемен к лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвещавшее ничего хорошего. Брат Федор, бывший раньше тихим, вдумчивым и чрезвычайно деликатным, теперь, с видом очень занятого и делового человека, с карандашом за ухом, бегал по амбару, похлопывал покупателей по плечу и кричал на приказчиков: «Друзья!» По-видимому, он играл какую-то роль, и в этой новой роли Алексей не узнавал его.

Голос старика гудел непрерывно. От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела, и при этом все ставил в пример самого себя. Это хвастовство, этот авторитетный подавляющий тон Лаптев слышал и 10, и 15, и 20 лет назад. Старик обожал себя; из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, приказчиков и служащих облагодетельствовал

и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно бога молить; что он ни делал, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идут дела, то потому только, что они не хотят посоветоваться с ним; без его совета не может удаться никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так служили, и думал, что это угодно богу, так как бог его любит.

К двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть. Лаптев, чтобы не стоять без дела, принял у одной мастерицы аграмант и отпустил ее, потом выслушал покупателя, вологодского купца, и приказал приказчику заняться.

— Твердо, веди, аз! — слышалось со всех сторон (буквами в амбаре означались цены и номера товаров). — Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптев простился с одним только Федором.

— Я завтра приеду с женой на Пятницкую, — сказал он, — но, предупреждаю, если отец скажет ей хоть одно грубое слово, то я минуты там не останусь.

— А ты все такой же, — вздохнул Федор. — Женился, не переменился. Надо, брат, снисходить к

старику. Итак, значит, завтра часам к одиннадцати. Будем с нетерпением ждать. Так приезжай прямо с обедни.

— Я в обедне не бываю.

— Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтоб успеть и богу помолиться, и позавтракать вместе. Кланяйся сестреночке и поцелуй ручку. У меня предчувствие, что я ее полюблю, — добавил Федор вполне искренно. — Завидую, брат! — крикнул он, когда уже Алексей спускался вниз.

«И почему это он все жмется как-то застенчиво, будто кажется ему, что он голый? — думал Лаптев, идя по Никольской и стараясь понять перемену, какая произошла в Федоре. — И язык какой-то новый у него: брат, милый брат, бог милости прислал, богу помолимся, — точно щедринский Иудушка».

VI

На другой день, в воскресенье, в 11 часов, он уже ехал с женой по Пятницкой, в легкой коляске, на одной лошади. Он боялся со стороны Федора Степаныча какой-нибудь выходки, и уже заранее ему было неприятно. После двух ночей, проведенных в доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастием, и если бы ей пришлось жить с мужем не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее, улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ездить по Москве в этих прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день, от утра до вечера, и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около белого, недавно оштукатуренного двухэтажного дома кучер сдержал лошадь и стал поворачивать вправо. Тут уже ждали. Около ворот стояли дворник в новом кафтане, в высоких сапогах и калошах, и двое городовых; все пространство с середины улицы до ворот и потом

по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Дворник снял шапку, городовые сделали под козырек. Около крыльца встретил Федор с очень серьезным лицом.

— Очень рад познакомиться, сестреночка, — сказал он, целуя Юлии руку. — Добро пожаловать.

Он повел ее под руку вверх по лестнице, потом по коридору сквозь толпу каких-то мужчин и женщин. В передней тоже было тесно, пахло ладаном.

— Я представлю вас сейчас нашему батюшке, — прошептал Федор среди гробовой торжественной тишины. — Почтенный старичок, pater familias.[24]

В большой зале около стола, приготовленного для молебна, стояли, очевидно, в ожиданий, Федор Степаныч, священник в камилавке и дьякон. Старик подал Юлии руку и не сказал ни слова. Все молчали. Юлия сконфузилась.

Священник и дьякон начали облачаться. Принесли кадило, из которого сыпались искры и шел запах ладана и угля. Зажгли свечи. Приказчики вошли в залу на цыпочках и стали у стены в два

---

[24] Примечания: 24
Отец семейства (*лат.*).

ряда. Было тихо, даже никто не кашлянул.

— Благослови, владыко, — начал дьякон.

Молебен служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акафиста: Иисусу сладчайшему и пресвятой богородице. Певчие пели только нотное, очень долго. Лаптев заметил, как давеча сконфузилась его жена; пока читались акафисты и певчие на разные лады выводили тройное «господи помилуй», он с душевным напряжением ожидал, что вот-вот старик оглянется и сделает какое-нибудь замечание, вроде «вы не умеете креститься»; и ему было досадно: к чему эта толпа, к чему вся эта церемония с попами и певчими. Это было слишком по-купечески. Но когда она вместе со стариком подставила голову под евангелие и потом несколько раз опускалась на колени, он понял, что ей все это нравится, и успокоился.

В конце молебна, во время многолетия, священник дал приложиться к кресту старику и Алексею, но когда подошла Юлия Сергеевна, он прикрыл крест рукой и сделал вид, что желает говорить. Замахали певчим, чтобы те замолчали.

— Пророк Самуил, — начал священник, — пришел в Вифлеем по повелению господню, и тут городские старейшины вопрошали его с трепе-

том: «мир ли вход твой, о прозорливче?» И рече пророк: «мир, пожрети бо господу приидох, освятитеся и возвеселитеся днесье со мною». Станем ли и мы, раба божия Юлия, вопрошать тебя о мире твоего пришествия в дом сей?..

Юлия раскраснелась от волнения. Кончив, священник дал ей приложиться ко кресту и сказал уже совсем другим тоном:

— Теперь Федора Федорыча надо женить. Пора.

Опять запели певчие, народ задвигался, и стало шумно. Растроганный старик, с глазами, полными слез, три раза поцеловал Юлию, перекрестил ей лицо и сказал:

— Это ваш дом. Мне, старику, ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но певчие пели так громко, что ничего нельзя было расслышать. Потом завтракали и пили шампанское. Она сидела рядом со стариком, и он говорил ей о том, что нехорошо жить врозь, надо жить вместе, в одном доме, а разделы и несогласия ведут к разорению.

— Я наживал, а дети только проживают, — говорил он. — Теперь вы живите со мной в одном доме и наживайте. Мне, старику, пора и отдохнуть.

Перед глазами у Юлии все время мелькал Федор, очень похожий на мужа, но более подвижной

и более застенчивый; он суетился возле и часто целовал ей руку.

— Мы, сестреночка, люди простые, — говорил он, и при этом красные пятна выступали у него на лице. — Мы живем просто, по-русски, по-христиански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптев, очень довольный, что все обошлось благополучно и сверх ожидания не произошло ничего особенного, говорил жене:

— Ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор. Да, но это так понятно! Отец женился на моей матери, когда ему было 45 лет, а ей только 17. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери, и потому вышла крепче и лучше нас; я же и Федор были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постоянным страхом. Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрене и к ранней обедне,

целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре, и так до 22 лет, пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра. Знаешь что, — сказал Лаптев и засмеялся от удовольствия, — давай поедем сейчас с визитом к Ярцеву. Это благороднейший человек! Как он будет тронут!

VII

В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесно и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Рассудина. После свадьбы он часто с тревогой помышлял о возможной встрече с ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, он вспомнил, что до сих пор еще не собрался объясниться с ней или написать по-дружески хотя две-три строчки, точно прятался от нее; ему стало стыдно, и он покраснел. Она крепко и порывисто пожала ему руку и спросила:

— Вы Ярцева видели?

И, не дожидаясь ответа, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкал ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, с длинным носом, и лицо у нее всегда было утомленное, замученное, и казалось, что ей стоило больших усилий, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нее были прекрасные темные глаза и

умное, доброе, искреннее выражение, но движения угловатые, резкие. Говорить с ней было нелегко, так как она не умела слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь с Лаптевым, она долго хохотала, закрыв лицо руками, и уверяла, что любовь для нее не составляет главного в жизни, жеманилась, как семнадцатилетняя девушка, прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи. Ей было уже 30 лет. Она была замужем за педагогом, но давно уже не жила с мужем. Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах.

Во время Девятой симфонии она опять прошла мимо, как бы нечаянно, но толпа мужчин, стоявшая густою стеной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптев увидел на ней ту же самую бархатную кофточку, в которой она ходила на концерты в прошлом и третьем году. Перчатки у нее были новые, веер тоже новый, но дешевый. Она любила наряжаться, но не умела и жалела на это деньги, и одевалась дурно и неряшливо, так что на улице обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урок, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала bis.

— Вы проведете сегодня вечер со мной, — сказала Полина Николаевна, подходя к Лаптеву и глядя на него сурово. — Мы отсюда поедем вместе чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мне многим обязаны и не имеете нравственного права отказать мне в этом пустяке.

— Хорошо, поедемте, — согласился Лаптев.

После симфонии начались нескончаемые вызовы. Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптев не мог уехать, не сказавши жене. Надо было стоять у двери и ждать.

— Мучительно хочу чаю, — пожаловалась Рассудина. — Душа горит.

— Здесь можно напиться, — сказал Лаптев. — Пойдемте в буфет.

— Ну, у меня нет денег, чтобы бросать буфетчику. Я не купчишка.

Он предложил ей руку, она отказалась, проговорив длинную, утомительную фразу, которую он слышал от нее уже много раз, именно, что она не причисляет себя к слабому прекрасному полу и не нуждается в услугах господ мужчин.

Разговаривая с ним, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми; это были ее

товарки по курсам Герье и по консерватории, и ученики, и ученицы. Она пожимала им руки крепко и порывисто, будто дергала. Но вот она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и наконец проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом:

— На ком вы женились? Где у вас были глаза, сумасшедший вы человек? Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги!

— Оставим это, Полина, — сказал он умоляющим голосом. — Все, что вы можете сказать мне по поводу моей женитьбы, я сам уже говорил себе много раз… Не причиняйте мне лишней боли.

Показалась Юлия Сергеевна в черном платье и с большою брильянтовою брошью, которую прислал ей свекор после молебна; за нею шла ее свита: Кочевой, два знакомых доктора, офицер и полный молодой человек в студенческой форме, по фамилии Киш.

— Поезжай с Костей, — сказал Лаптев жене. — А я приеду после.

Юлия кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядом, дрожа всем телом и нервно пожимаясь, и этот взгляд ее

был полон отвращения, ненависти и боли.

Лаптев боялся ехать к ней, предчувствуя неприятное объяснение, резкости и слезы, и предложил отправиться пить чай в какой-нибудь ресторан. Но она сказала:

— Нет, нет, поедемте ко мне. Не смейте говорить мне о ресторанах.

Она не любила бывать в ресторанах, потому что ресторанный воздух казался ей отравленным табаком и дыханием мужчин. Ко всем незнакомым мужчинам она относилась с странным предубеждением, считала их всех развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кроме того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка.

Выйдя из Благородного Собрания, наняли извозчика на Остоженку, в Савеловский переулок, где жила Рассудина. Лаптев всю дорогу думал о ней. В самом деле, он был ей многим обязан. Познакомился он с нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорию музыки. Она полюбила его сильно, совершенно бескорыстно и, сойдясь с ним, продолжала ходить на уроки и трудиться по-прежнему до изнеможения. Благодаря ей он стал понимать и любить музыку, к которой раньше был почти равнодушен.

— Полцарства за стакан чаю! — проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не простудиться. — Я была на пяти уроках, чтобы их черт взял! Ученики такие тупицы, такие толкачи, я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Как только скоплю триста рублей, брошу все и поеду в Крым. Лягу на берегу и буду глотать кислород. Как я люблю море, ах, как я люблю море!

— Никуда вы не поедете, — сказал Лаптев. — Во-первых, вы ничего не скопите, и, во-вторых, вы скупы. Простите, я опять повторю: неужели собрать эти триста рублей по грошам у праздных людей, которые учатся у вас музыке от нечего делать, менее унизительно, чем взять их взаймы у ваших друзей?

— У меня нет друзей! — сказала она раздраженно. — И прошу вас не говорить глупостей. У рабочего класса, к которому я принадлежу, есть одна привилегия: сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет-с, меня не купите! Я не Юличка!

Лаптев не стал платить извозчику, зная, что это вызовет целый поток слов, много раз уже слышанных раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату с мебелью

и со столом в квартире одинокой дамы. Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. В ее комнате были кресла в чехлах, кровать с белым летним одеялом и хозяйские цветы, на стенах висели олеографии, и не было ничего, что напоминало бы о том, что здесь живет женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книг, ни даже письменного стола. Видно было, что она ложилась спать, как только приходила домой, и, вставая утром, тотчас же уходила из дому.

Кухарка принесла самовар. Полина Николаевна заварила чай и, все еще дрожа, — в комнате было холодно, — стала бранить певцов, которые пели в Девятой симфонии. У нее закрывались глаза от утомления. Она выпила один стакан, потом другой, потом третий.

— Итак, вы женаты, — сказала она. — Но не беспокойтесь, я киснуть не буду, я сумею вырвать вас из своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота, молодость… Молодость! — проговорила она в нос, как будто передразнивая кого-то, и засмеялась. — Молодость! Вам нужна чистота,

Reinheit![25] Reinheit! — захохотала она, откидываясь на спинку кресла. — Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нее были заплаканные.

— Вы счастливы, по крайней мере? — спросила она.

— Нет.

— Она вас любит?

— Нет.

Лаптев, взволнованный, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить по комнате.

— Нет, — повторил он. — Я, Полина, если хотите знать, очень несчастлив. Что делать? Сделал глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла без любви, глупо, быть может, и по расчету, но не рассуждая, и теперь, очевидно, сознает свою ошибку и страдает. Я вижу. Ночью мы спим, но днем она боится остаться со мной наедине хотя бы пять минут и ищет развлечений, общества. Ей со мной стыдно и страшно.

— А деньги все-таки берет у вас?

— Глупо, Полина! — крикнул Лаптев. — Она берет у меня деньги потому, что для нее реши-

---

[25] Примечания: 25
Чистота, невинность (*нем.*).

тельно все равно, есть они у нее или нет. Она честный, чистый человек. Вышла она за меня просто потому, что ей хотелось уйти от отца, вот и все.

— А вы уверены, что она вышла бы за вас, если бы вы не были богаты? — спросила Рассудина.

— Ни в чем я не уверен, — сказал с тоской Лаптев. — Ни в чем. Я ничего не понимаю. Ради бога, Полина, не будем говорить об этом.

— Вы ее любите?

— Безумно.

Затем наступило молчание. Она пила четвертый стакан, а он ходил и думал о том, что жена теперь, вероятно, в докторском клубе, ужинает.

— Но разве можно любить, не зная, за что? — спросила Рассудина и пожала плечами. — Нет, в вас говорит животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этим красивым телом, этой Reinheit! Уйдите от меня, вы грязны! Ступайте к ней!

Она махнула ему рукой, потом взяла его шапку и швырнула в него. Он молча надел шубу и вышел, но она побежала в сени и судорожно вцепилась ему в руку около плеча и зарыдала.

— Перестаньте, Полина! Полно! — говорил он и никак не мог разжать ее пальцев. — Успокойтесь, прошу вас!

Она закрыла глаза и побледнела, и длинный нос ее стал неприятного воскового цвета, как у мертвой, и Лаптев все еще не мог разжать ее пальцев. Она была в обмороке. Он осторожно поднял ее и положил на постель и просидел возле нее минут десять, пока она очнулась. Руки у нее были холодные, пульс слабый, с перебоями.

— Уходите домой, — сказала она, открывая глаза. — Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя в руки.

Выйдя от нее, он отправился не в докторский клуб, где ожидала его компания, а домой. Всю дорогу он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью не с этою женщиной, которая его так любит и была уже на самом деле его женой и подругой? Это был единственный человек, который был к нему привязан, и разве, кроме того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, приют и покой этому умному, гордому и замученному трудом существу? К лицу ли ему, спрашивал он себя, эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье, которого не может быть и которое, точно в наказание или насмешку, вот уже три месяца держит его в мрачном, угнетенном состоянии? Медовый месяц давно прошел, а он, смешно сказать, еще не знает,

что за человек его жена. Своим институтским подругам и отцу она пишет длинные письма на пяти листах, и находит же, о чем писать, а с ним говорит только о погоде и о том, что пора обедать или ужинать. Когда она перед сном долго молится богу и потом целует свои крестики и образки, он, глядя на нее, думает с ненавистью: «Вот она молится, но о чем молится? О чем?» Он в мыслях оскорблял ее и себя, говоря, что, ложась с ней спать и принимая ее в свои объятия, он берет то, за что платит, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смелая, грешная женщина, но ведь тут молодость, религиозность, кротость, невинные, чистые глаза… Когда она была его невестой, ее религиозность трогала его, теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему заставой, из-за которой не видно было настоящей правды. В его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя с ним рядом в театре, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочет поделиться с ним своим восторгом. И замечательно, она подружилась со всеми его приятелями, и все они уже знали, что она за человек, а он ничего не знал, а только хандрил и молча ревновал.

Придя домой, Лаптев надел халат и туфли и сел у себя в кабинете читать роман. Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, как в передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побежавшего отворять. Это была Юлия. Она вошла в кабинет в шубке, с красными от мороза щеками.

— На Пресне большой пожар, — проговорила она, запыхавшись. — Громадное зарево. Я поеду туда с Константином Иванычем.

— С богом!

Вид здоровья, свежести и детского страха в глазах успокоил Лаптева. Он почитал еще с полчаса и пошел спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему в амбар две книги, которые когда-то брала у него, все его письма и его фотографии; при этом была записка, состоявшая только из одного слова: «Баста!»

VIII

Уже в конце октября у Нины Федоровны ясно определился рецидив. Она быстро худела и изменялась в лице. Несмотря на сильные боли, она воображала, что уже выздоравливает, и каждое утро одевалась, как здоровая, и потом целый день лежала в постели одетая. И под конец она стала очень разговорчива. Лежит на спине и рассказывает что-нибудь тихо, через силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при следующих обстоятельствах.

Был лунный, ясный вечер, на улице катались по свежему снегу, и в комнату с улицы доносился шум. Нина Федоровна лежала в постели на спине, а Саша, которую уже некому было сменить, сидела возле и дремала.

— Отчества его не помню, — рассказывала Нина Федоровна тихо, — а звали его Иван, по фамилии Кочевой, бедный чиновник. Пьяница был горький, царство небесное. Ходил он к нам, и каждый месяц мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушке чаю. Ну, случалось, и деньгами, конечно. Да... Затем такое происшествие: запил шибко наш Кочевой и помер, от водки сгорел.

Остался после него сынишка, мальчоночек лет семи. Сироточка… Взяли мы его и спрятали у приказчиков, и жил он так цельный год, и папаша не знал. А как увидел папаша, только рукой махнул и ничего не сказал. Когда Косте, сиротке-то, пошел девятый годок, — а я в ту пору уже невестой была, — повезла я его по всем гимназиям. Туда-сюда, нигде не принимают. А он плачет… «Что же ты, — говорю, — дурачок, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназию и там, дай бог здоровья, приняли… И стал мальчишечка ходить каждый день пешком с Пятницкой на Разгуляй да с Разгуляя на Пятницкую… Алеша за него платил… Милости господни, стал мальчик хорошо учиться, вникать и вышел из него толк… Адвокатом теперь в Москве, Алешин друг, такой же высокой науки. Вот не пренебрегли человеком, приняли его в дом, и теперь он за нас небось бога молит… Да…

Нина Федоровна стала говорить все тише, с долгими паузами, потом, помолчав немного, вдруг поднялась и села.

— А мне не того… нехорошо как будто, — сказала она. — Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидев теперь, как вдруг осунулось ее лицо, она

угадала, что это конец, и испугалась.

— Мамочка, это не надо! — зарыдала она. — Это не надо!

— Сбегай в кухню, пусть за отцом сходят. Мне очень даже нехорошо.

Саша бегала по всем комнатам и звала, но во всем доме не было никого из прислуги, и только в столовой на сундуке спала Лида в одеже и без подушки. Саша, как была, без калош выбежала на двор, потом на улицу. За воротами на лавочке сидела няня и смотрела на катанье. С реки, где был каток, доносились звуки военной музыки.

— Няня, мама умирает! — сказала Саша, рыдая. — Надо сходить за папой!..

Няня пошла наверх в спальню и, взглянув на больную, сунула ей в руки зажженную восковую свечу. Саша в ужасе суетилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за папой, потом надела пальто и платок и выбежала на улицу. От прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и две девочки, с которыми он живет на Базарной. Она побежала влево от ворот, плача и боясь чужих людей, и скоро стала грузнуть в снегу и зябнуть.

Встретился ей извозчик порожнем, но она не наняла его: пожалуй, завезет ее за город, ограбит и бросит на кладбище (за чаем рассказывала

прислуга: был такой случай). Она все шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая. Выйдя на Базарную, она спросила, где здесь живет господин Панауров. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимает, привела ее за руку к одноэтажному дому с подъездом. Дверь была не заперта. Саша пробежала через сени, потом коридор и наконец очутилась в светлой, теплой комнате, где за самоваром сидел отец и с ним дама и две девочки. Но уж она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауров понял.

— Вероятно, маме нехорошо? — спросил он. — Скажи, девочка: маме нехорошо?

Он встревожился и послал за извозчиком.

Когда приехали домой, Нина Федоровна сидела обложенная подушками, со свечой в руке. Лицо потемнело, и глаза были уже закрыты. В спальне стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужик Прокофий и еще какие-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шепотом, и ее не понимали. В глубине комнаты у окна стояла Лида, бледная, заспанная, и сурово глядела оттуда на мать.

Панауров взял у Нины Федоровны из рук свечу и, брезгливо морщась, швырнул на комод.

— Это ужасно! — проговорил он, и плечи у него вздрогнули. — Нина, тебе лечь нужно, — сказал он ласково. — Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его… Ее положили на спину.

Когда пришли священник и доктор Сергей Борисыч, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

— Вот она какова история! — сказал доктор в раздумье, выходя в гостиную. — А ведь еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкие рыданья девочек. Панауров, бледный, с влажными глазами, подошел к доктору и сказал слабым, томным голосом:

— Дорогой мой, окажите услугу, пошлите в Москву телеграмму. Я решительно не в силах.

Доктор добыл чернил и написал дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается дом переводом долга, доплатить девять. Торги двенадцатого. Советую не упустить».

IX

Лаптев жил в одном из переулков Малой Дмитровки, недалеко от Старого Пимена. Кроме большого дома на улицу, он нанимал также еще двухэтажный флигель во дворе для своего друга Кочевого, помощника присяжного поверенного, которого все Лаптевы звали просто Костей, так как он вырос на их глазах. Против этого флигеля стоял другой, тоже двухэтажный, в котором жило какое-то французское семейство, состоявшее из мужа, жены и пяти дочерей.

Был мороз градусов в двадцать. Окна заиндевели. Проснувшись утром, Костя с озабоченным лицом принял пятнадцать капель какого-то лекарства, потом, доставши из книжного шкапа две гири, занялся гимнастикой. Он был высок, очень худ, с большими рыжеватыми усами; но самое заметное в его наружности — это были его необыкновенно длинные ноги.

Петр, мужик средних лет, в пиджаке и в ситцевых брюках, засунутых в высокие сапоги, принес самовар и заварил чай.

— Очень нынче хорошая погода, Константин Иваныч, — сказал он.

— Да, хорошая, только вот, брат, жаль, живется нам с тобой не ахти как.

Петр вздохнул из вежливости.

— Что девочки? — спросил Кочевой.

— Батюшка не пришли, Алексей Федорыч сами с ними занимаются.

Костя нашел на окне необледенелое местечко и стал смотреть в бинокль, направляя его на окно, где жило французское семейство.

— Не видать, — сказал он.

В это время внизу Алексей Федорыч занимался по закону божию с Сашей и Лидой. Вот уже полтора месяца, как они жили в Москве, в нижнем этаже флигеля, вместе со своею гувернанткой, и к ним приходили три раза в неделю учитель городского училища и священник. Саша проходила Новый Завет, а Лида недавно начала Ветхий. В последний раз Лиде было задано повторить до Авраама.

— Итак, у Адама и Евы было два сына, — сказал Лаптев. — Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!

Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами; а старшая, Саша, смотрела ей в лицо и мучилась.

— Ты прекрасно знаешь, не нужно только вол-

новаться, — сказал Лаптев. — Ну, как же звать сыновей Адама?

— Авель и Кавель, — прошептала Лида.

— Каин и Авель, — поправил Лаптев.

По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать. Лаптев от жалости не мог уже говорить, слезы подступили у него к горлу; он встал из-за стола и закурил папиросу. В это время сошел сверху Кочевой с газетой в руках. Девочки поднялись и, не глядя на него, сделали реверанс.

— Бога ради, Костя, займитесь вы с ними, — обратился к нему Лаптев. — Я боюсь, что сам заплачу, и мне нужно до обеда в амбар съездить.

— Ладно.

Алексей Федорыч ушел. Костя с очень серьезным лицом, нахмурясь, сел за стол и потянул к себе Священную историю.

— Ну-с? — спросил он. — О чем вы тут?

— Она знает о потопе, — сказала Саша.

— О потопе? Ладно, будем жарить о потопе. Валяй о потопе. — Костя пробежал в книжке краткое описание потопа и сказал: — Должен я вам заметить, такого потопа, как здесь описано, на самом деле не было. И никакого Ноя не было. За

несколько тысяч лет до Рождества Христова было на земле необыкновенное наводнение, и об этом упоминается не в одной еврейской Библии, но также в книгах других древних народов, как-то: греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небось остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдруг зарыдала так громко, что Костя вздрогнул и поднялся с места в сильном смущении.

— Я хочу домой, — проговорила она. — К папе и к няне.

Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:

— Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.

Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.

— Верьте мне, верьте, — говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую, — ваш папа приедет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь

против бога!

Когда они перестали плакать, она окутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.

Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.

— Дай бог! — сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.

В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вече-

рам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий… Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.

Адвокатская деятельность нравилась ему, но все же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания,

устраивал концерты с благотворительною целью, знакомился с певцами…

Во время обеда разговаривали.

— Удивительное дело, — сказал Лаптев, — опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.

Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем как начальник.

После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской деве», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а бледные, печальные сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за

винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.

— Что вы сегодня видели в бинокль? — спросила Юлия Сергеевна у Кости.

— Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.

В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.

— А пора бы уже вашему папе приехать, — говорил он, посматривая на часы. — Должно быть, поезд опоздал.

Девочки сидели в кресле, молча, прижавшись друг к другу, как зверки, которым холодно, а он все ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.

Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.

— Сейчас, сейчас, — бормотал он, а Саша и Ли-

да, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он не спеша приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:

— А я к вам ненадолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.

Остановился он в «Дрездене».

X

У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти догола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты называли его вышибалой.

Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естественный и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц, он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русскою историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то

походил на естественника.

Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он все хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш сходит, Киш сделает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно,

и остроты его всякий раз вызывали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками.

Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:

— Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу, — говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. — Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах, да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, — такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их побери.

— Я с вами согласна, Константин Иваныч, — сказала Юлия Сергеевна. — Один описывает любовное свидание, другой — измену, третий —

встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно все это читать.

Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.

— Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, — сказал Ярцев, — то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульетте», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?

— Дядя, это крайности! — перебил Костя. — Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гете, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.

Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно

прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он все продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось все более равнодушным и глаза потускнели.

— Киш, рассказывайте поскорее, — не выдержала Юлия Сергеевна, — а то ведь это мучительно!

— Перестаньте, Киш! — крикнул на него Костя.

Засмеялись все, и сам Киш.

Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многолюдных собраний и предпочитал общество одного человека.

— Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам, — сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы. — Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.

— Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.

— Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит.

Петр принес на подносе стакан чаю. Федор

выпил без сахару и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.

— Знаешь что, брат? — сказал он, вставая и подходя к брату. — Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше — больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург — земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.

Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого — и тайного советника, и ленты — хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.

Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.

Позвонили ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:

— Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически

невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.

— Это будет не скоро, очень не скоро, — сказал Костя и усмехнулся, — очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то, вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.

— Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! — проговорил Лаптев и потер ладонью лоб. — Бороться со мной — как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги,

что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.

— Зато вы можете много добра сделать, — сказал Киш.

— Какое там добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так же мало, как и вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет. Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедняка-скрипача, а он ответил так: «Вы обратились именно ко мне потому, что вы не музыкант». Так и я вам отвечу: вы обращаетесь ко мне за помощью так уверенно потому, что сами ни разу еще не были в положении богатого человека.

— Для чего тут сравнение с известным музыкантом, не понимаю! — проговорила Юлия Сергеевна и покраснела. — При чем тут известный музыкант!

Лицо ее задрожало от ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выражение ее лица понял не один только муж, но и все, си-

девшие за столом.

— При чем тут известный музыкант! — повторила она тихо. — Нет ничего легче, как помочь бедному человеку.

Наступило молчание. Петр подал рябчиков, но никто не стал есть их, и все ели один салат. Лаптев уже не помнил, что он сказал, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а уж одно то, что он вмешался в разговор.

После ужина он пошел к себе в кабинет; напряженно, с биением сердца, ожидая еще новых унижений, он прислушивался к тому, что происходило в зале. Там опять начался спор; потом Ярцев сел за рояль и спел чувствительный романс. Это был мастер на все руки: он и пел, и играл, и даже умел показывать фокусы.

— Как вам угодно, господа, а я не желаю сидеть дома, — сказала Юлия. — Надо поехать куда-нибудь.

Решили ехать за город и послали Киша к купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали с собой, потому что обыкновенно он не ездил за город и потому что у него сидел теперь брат; но он понял это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой, молодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство

были так сильны, что он едва не плакал; он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок, и ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена изменила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя на него с ненавистью… Он ревновал ее к знакомым студентам, к актерам, певцам, к Ярцеву, даже к встречным, и теперь ему страстно хотелось, чтобы она в самом деле была неверна ему, хотелось застать ее с кем-нибудь, потом отравиться, отделаться раз навсегда от этого кошмара. Федор пил чай и громко глотал. Но вот и он собрался уходить.

— А у нашего старичка, должно быть, темная вода, — сказал он, надевая шубу. — Совсем стал плохо видеть.

Лаптев тоже надел шубу и вышел. Проводив брата до Страстного, он взял извозчика и поехал к Яру.

«И это называется семейным счастьем! — смеялся он над собой. — Это любовь!»

У него стучали зубы, и он не знал, ревность это или что другое. У Яра он прошелся около столов, послушал в зале куплетиста; на случай встречи со своими у него не было ни одной готовой фразы,

и он заранее был уверен, что при встрече с женой он только улыбнется жалко и неумно, и все поймут, какое чувство заставило его приехать сюда. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и от того, что встречные дамы смотрели на него, его мутило. Он останавливался у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что делается в отдельных кабинетах, и ему казалось, что он играет заодно с куплетистом и этими дамами какую-то низкую, презренную роль. Затем он поехал в Стрельну, но и там не встретил никого из своих, и только когда, возвращаясь назад, опять подъезжал к Яру, его с шумом обогнала тройка; пьяный ямщик кричал, и слышно было, как хохотал Ярцев: «га-гага!»

Вернулся Лаптев домой в четвертом часу. Юлия Сергеевна была уже в постели. Заметив, что она не спит, он подошел к ней и сказал резко:

— Я понимаю ваше отвращение, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при посторонних, могли бы скрыть свое чувство.

Она села на постели, спустив ноги. При свете лампадки глаза у нее казались большими, черными.

— Я прошу извинений, — проговорила она.

От волнения и дрожи во всем теле он уже не

мог выговорить ни одного слова, а стоял перед ней и молчал. Она тоже дрожала и сидела с видом преступницы, ожидая объяснения.

— Как я страдаю! — сказал он наконец и взял себя за голову. — Я как в аду, я с ума сошел!

— А мне разве легко? — спросила она дрогнувшим голосом. — Один бог знает, каково мне.

— Ты моя жена, уже полгода, но в твоей душе ни даже искры любви, нет никакой надежды, никакого просвета! Зачем ты вышла за меня? — продолжал Лаптев с отчаянием. — Зачем? Какой демон толкал тебя в мои объятия? На что ты надеялась? Чего ты хотела?

А она смотрела на него с ужасом, точно боясь, что он убьет ее.

— Я тебе нравился? Ты любила меня? — продолжал он, задыхаясь. — Нет! Так что же? Что? Говори: что? — крикнул он. — О, проклятые деньги! Проклятые деньги!

— Клянусь богом, нет! — вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась от оскорбления, и он в первый раз услышал, как она плачет. — Клянусь богом, нет! — повторила она. — Я не думала о деньгах, они мне не нужны, мне просто казалось, что если я откажу тебе, то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебе и себе. И теперь

страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и он понял, как ей больно, и, не зная, что сказать, он опустился перед ней на ковер.

— Довольно, довольно, — бормотал он. — Оскорбил я тебя, потому что люблю безумно, — он вдруг поцеловал ее в ногу и страстно обнял. — Хоть искру любви! — бормотал он. — Ну, солги мне! Солги! Не говори, что это ошибка!..

Но она продолжала плакать, и он чувствовал, что его ласки она переносит только как неизбежное последствие своей ошибки. И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. Ему стало жаль ее.

Она легла и укрылась с головой, он разделся и тоже лег. Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал.

Перед обедом приезжал прощаться Панауров. Юлии неудержимо захотелось домой на родину; хорошо бы уехать, думала она, и отдохнуть от семейной жизни, от этого смущения и постоянного сознания, что она поступила дурно. Решено было за обедом, что она уедет с Панауровым и погостит у отца недели две-три, пока не соскучится.

XI

Она и Панауров ехали в отдельном купе; на голове у него был картуз из барашкового меха какой-то странной формы.

— Да, не удовлетворил меня Петербург, — говорил он с расстановкою, вздыхая. — Обещают много, но ничего определенного. Да, дорогая моя. Был я мировым судьей, непременным членом, председателем мирового съезда, наконец, советником губернского правления; кажется, послужил отечеству и имею право на внимание, но вот вам: никак не могу добиться, чтобы меня перевели в другой город…

Панауров закрыл глаза и покачал головой.

— Меня не признают, — продолжал он, как бы засыпая. — Конечно, я не гениальный администратор, но зато я порядочный, честный человек, а по нынешним временам и это редкость. Каюсь, иногда женщин я обманывал слегка, но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Но довольно об этом, — сказал он, открывая глаза, — будем говорить о вас. Что это вам вздумалось вдруг ехать к папаше?

— Так, с мужем немножко не поладила, — ска-

зала Юлия, глядя на его картуз.

— Да, какой-то он у вас странный. Все Лаптевы странные. Муж ваш еще ничего, туда-сюда, но брат его Федор совсем дурак.

Панауров вздохнул и спросил серьезно:

— А любовник у вас уже есть?

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

— Бог знает, что вы говорите.

На большой станции, часу в одиннадцатом, оба вышли и поужинали. Когда поезд пошел дальше, Панауров снял пальто и свой картузик и сел рядом с Юлией.

— А вы очень милы, надо вам сказать, — начал он. — Извините за трактирное сравнение, вы напоминаете мне свежепросоленный огурчик; он, так сказать, еще пахнет парником, но уже содержит в себе немножко соли и запаха укропа. Из вас мало-помалу формируется великолепная женщина, чудесная, изящная женщина. Если б эта наша поездка происходила лет пять назад, — вздохнула он, — то я почел бы приятным долгом поступить в ряды ваших поклонников, но теперь, увы, я инвалид.

Он грустно и в то же время милостиво улыбнулся и обнял ее за талию.

— Вы с ума сошли! — сказала она, покраснела и испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. — Оставьте, Григорий Николаич!

— Что же вы боитесь, милая? — спросил он мягко. — Что тут ужасного? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что он произвел впечатление и нравится. Держа Юлию за талию, он крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы, в полной уверенности, что доставляет ей большое удовольствие. Юлия оправилась от страха и смущения и стала смеяться. Он поцеловал ее еще раз и сказал, надевая свой смешной картуз:

— Вот и все, что может дать вам инвалид. Один турецкий паша, добрый старичок, получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал: «Вот и все, что я теперь в состоянии дать вам». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупым, необыкновенным и веселило ее. Хотелось шалить. Ставши на диван и напевая, она достала с полки коробку с конфетами и крикнула, бросив кусочек шоколада:

— Ловите!

Он поймал; она бросила ему другую конфетку с громким смехом, потом третью, а он все ловил и клал себе в рот, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что в его лице, в чертах и в выражении много женского и детского. И когда она, запыхавшись, села на диван и продолжала смотреть на него со смехом, он двумя пальцами дотронулся до ее щеки и проговорил как бы с досадой:

— Подлая девчонка!

— Возьмите, — сказала она, подавая ему коробку. — Я не люблю сладкого.

Он съел конфеты, все до одной, и пустую коробку запер к себе в чемодан; он любил коробки с картинками.

— Однако довольно шалить, — сказал он. — Инвалиду пора бай-бай.

Он достал из портпледа свой бухарский халат и подушку, лег и укрылся халатом.

— Спокойной ночи, голубка! — тихо проговорил он и вздохнул так, как будто у него болело все тело.

И скоро послышался храп. Не чувствуя никакого стеснения, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утром она в своем родном городе ехала с вокзала домой, то улицы казались

ей пустынными, безлюдными, снег серым, а дома маленькими, точно кто приплюснул их. Встретилась ей процессия: несли покойника в открытом гробе, с хоругвями.

«Покойника встретить, говорят, к счастью», — подумала она.

На окнах того дома, в котором жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены белые билетики.

С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, в теплой ватной кофте. Идя по лестнице, Юлия вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви Лаптев, но теперь лестница была немытая, вся в следах. Наверху, в холодном коридоре, ожидали больные в шубах. И почему-то сердце у нее сильно билось, и она едва шла от волнения.

Доктор, еще больше пополневший, красный, как кирпич, и с взъерошенными волосами, пил чай. Увидев дочь, он очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что в жизни этого старика она — единственная радость, и, растроганная, крепко обняла его и сказала, что будет жить у него долго, до Пасхи. Переодевшись у себя в комнате, она пришла в столовую, чтобы вместе

пить чай, он ходил из угла в угол, засунув руки в карманы, и пел: «ру-ру-ру», — значит, был чем-то недоволен.

— Тебе в Москве живется очень весело, — сказал он. — Я за тебя очень рад… Мне же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу вас всех. И надо удивляться, что у меня такая крепкая шкура, что я еще жив! Изумительно!

Он сказал, что он старый, двужильный осел, на котором ездят все. На него взвалили лечение Нины Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны; а этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него сто рублей взаймы и до сих пор не отдает.

— Возьми меня в Москву и посади там в сумасшедший дом! — сказал доктор. — Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как все еще верю в правду и справедливость!

Затем он упрекал ее мужа в недальновидности: не покупает домов, которые продаются так выгодно. И теперь уж Юлии казалось, что в жизни этого старика она — не единственная радость. Когда он принимал больных и потом уехал на практику, она ходила по всем комнатам, не зная, что делать и о чем думать. Она уже отвыкла от родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на

улицу, ни к знакомым, и при воспоминании о прежних подругах и о девичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлого.

Вечером она оделась понаряднее и пошла ко всенощной. Но в церкви были только простые люди, и ее великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви, и в ней самой. Прежде она любила, когда во всенощной читали канон и певчие пели ирмосы, например, «Отверзу уста моя», любила медленно подвигаться в толпе к священнику, стоящему среди церкви, и потом ощущать на своем лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя из церкви, она уже боялась, чтобы у нее не попросили нищие; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и в карманах у нее уже не было медных денег, а были только рубли.

Легла она в постель рано, а уснула поздно. Снились ей все какие-то портреты и похоронная процессия, которую она видела утром; открытый гроб с мертвецом внесли во двор и остановились у двери, потом долго раскачивали гроб на полотенцах и со всего размаха ударили им в дверь. Юлия проснулась и вскочила в ужасе. В самом де-

ле, внизу стучали в дверь, и проволока от звонка шуршала по стене, но звонка не было слышно.

Закашлял доктор. Вот, слышно, горничная сошла вниз, потом вернулась.

— Барыня! — сказала она и постучала в дверь. — Барыня!

— Что такое? — спросила Юлия.

— Вам телеграмма!

Юлия со свечой вышла к ней. Позади горничной стоял доктор, в нижнем белье и пальто, и тоже со свечой.

— Звонок у нас испортился, — говорил он, зевая спросонок. — Давно бы починить надо.

Юлия распечатала телеграмму и прочла: «Пьем ваше здоровье. Ярцев, Кочевой».

— Ах, какие дураки! — сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело.

Вернувшись к себе в комнату, она тихо умылась, оделась, потом долго укладывала свои вещи, пока не рассвело, а в полдень уехала в Москву.

XII

На Святой неделе Лаптевы были в училище живописи на картинной выставке. Отправились они туда всем домом, по-московски, взявши с собой обеих девочек, гувернантку и Костю.

Лаптев знал фамилии всех известных художников и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него много вкуса и что если б он учился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение, покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него, сколько хотел, и купленная вещь лежала потом, забитая в ящик, в каретном сарае, пока не исчезала неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, бронзу, делал разные замечания и вдруг покупал какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины все больших размеров, но плохие; хорошие же были дурно повешены. Случалось ему не раз платить дорого за вещи, которые потом оказывались

грубою подделкой. И замечательно, что, робкий вообще в жизни, он был чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. Отчего?

Юлия Сергеевна смотрела на картины, как муж, в кулак или бинокль и удивлялась, что люди на картинах как живые, а деревья как настоящие; но она не понимала, ей казалось, что на выставке много картин одинаковых и что вся цель искусства именно в том, чтобы на картинах, когда смотришь на них в кулак, люди и предметы выделялись, как настоящие.

— Это лес Шишкина, — объяснял ей муж. — Всегда он пишет одно и то же… А вот обрати внимание: такого лилового снега никогда не бывает… А у этого мальчика левая рука короче правой.

Когда все утомились и Лаптев пошел отыскивать Костю, чтобы ехать домой, Юлия остановилась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около него костер: должно быть, ночное стерегут. А вдали догорает вечерняя заря.

Юлия вообразила, как она сама идет по мости-

ку, потом тропинкой, все дальше и дальше, а кругом тихо, кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле она видела уже давно и много раз, она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного.

— Как это хорошо написано! — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. — Посмотри, Алеша! Замечаешь, как тут тихо?

Она старалась объяснить, почему так нравится ей этот пейзаж, но ни муж, ни Костя не понимали ее. Она все смотрела на пейзаж с грустною улыбкой, и то, что другие не находили в нем ничего особенного, волновало ее; потом она начала снова ходить по залам и осматривать картины, хотела понять их, и уже ей не казалось, что на выставке много одинаковых картин. Когда она, вернувшись домой, в первый раз за все время обратила внимание на большую картину, висевшую в зале над роялем, то почувствовала к ней вражду и сказала:

— Охота же иметь такие картины!

И после того золотые карнизы, венецианские зеркала с цветами и картины вроде той, что висела над роялем, а также рассуждения мужа и Кости об искусстве уже возбуждали в ней чувство скуки и досады, и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня в день, не обещая ничего особенного. Театральный сезон уже кончился, наступило теплое время. Погода все время стояла превосходная. Как-то утром Лаптевы собрались в окружной суд послушать Костю, который защищал кого-то по назначению суда. Они замешкались дома и при-ехали в суд, когда уже начался допрос свидетелей. Обвинялся запасный рядовой в краже со взломом. Было много свидетельниц-прачек; они показывали, что подсудимый часто бывал у хозяйки, содержательницы прачечной; под Воздвиженье он пришел поздно вечером и стал просить денег, чтобы опохмелиться, но никто ему не дал; тогда он ушел, но через час вернулся и принес с собой пива и мятных пряников для девушек. Пили и пели песни почти до рассвета, а когда утром хватились, то замок у входа на чердак был сломан и из белья пропало: три мужских сорочки, юбка и две простыни. Костя у каждой свидетельницы спрашивал насмешливо: не пила ли она под

Воздвиженье того пива, которое принес подсудимый? Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обокрали. Говорил он свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных.

Он объяснял, что такое кража со взломом и простая кража. Говорил очень подробно, убедительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно. И трудно было понять, чего, собственно, он хочет? Из его длинной речи присяжный заседатель мог сделать только такой вывод: «взлом был, но кражи не было, так как белье пропили сами прачки, а если кража была, то без взлома». Но, очевидно, он говорил именно то, что нужно, так как речь его растрогала присяжных и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговор, Юлия закивала головой Косте и потом крепко пожала ему руку.

В мае Лаптевы переехали на дачу в Сокольники. В это время Юлия была уже беременна.

XIII

Прошло больше года. В Сокольниках, недалеко от полотна Ярославской дороги, сидели на траве Юлия и Ярцев; немного в стороне лежал Кочевой, подложив руки под голову, и смотрел на небо. Все трое уже нагулялись и ждали, когда пройдет дачный шестичасовой поезд, чтоб идти домой пить чай.

— Матери видят в своих детях что-то необыкновенное, так уже природа устроила, — говорила Юлия. — Целые часы мать стоит у постельки, смотрит, какие у ребенка ушки, глазки, носик, восхищается. Если кто посторонний целует ее ребенка, то ей, бедной, кажется, что это доставляет ему большое удовольствие. И ни о чем мать не говорит, только о ребенке. Я знаю эту слабость матерей и слежу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Как она смотрит, когда сосет! Как смеется! Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видала даже у трехлетних.

— Скажите, между прочим, — спросил Ярцев, — кого вы любите больше: мужа или ребенка?

Юлия пожала плечами.

— Не знаю, — сказала она. — Я никогда сильно не любила мужа, и Оля — это, в сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея. Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздор.

— Но если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? Отчего вы живете с ним?

— Не знаю… Так, привычка, должно быть. Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это — не любовь. Он умный, честный человек, и для моего счастья этого достаточно. Он очень добрый, простой…

— Алеша умный, Алеша добрый, — проговорил Костя, лениво поднимая голову, — но, милая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, нужно с ним три пуда соли съесть… И какой толк в его доброте или в его уме? Денег он вам отвалит сколько угодно, это он может, но где нужно употребить характер, дать отпор наглецу и нахалу, там он конфузится и падает духом. Такие люди, как ваш любезный Алексис, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконец показался поезд. Из трубы валил и поднимался над рощей совершенно розовый пар,

и два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что было больно смотреть.

— Чай пить! — сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь.

Она в последнее время пополнела, и походка у нее была уже дамская, немножко ленивая.

— А все-таки без любви не хорошо, — сказал Ярцев, идя за ней. — Мы все только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, не хорошо.

— Все это пустяки, Иван Гаврилыч, — сказала Юлия. — Не в этом счастье.

Чай пили в садике, где цвели резеда, левкои, табак и уже распускались ранние шпажники. Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже есть, и у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, как никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая девочка…

После чаю Ярцев пел романсы, аккомпанируя себе на рояле, а Юлия и Кочевой сидели молча и слушали, и только Юлия изредка вставала и

тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вот уже два дня лежала вся в жару и ничего не ела.

— «Мой друг, мой нежный друг», — пел Ярцев. — Нет, господа, хоть зарежьте, — сказал он и встряхнул головой, — не понимаю, почему вы против любви! Если б я не был занят пятнадцать часов в сутки, то непременно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасе; было тепло и тихо, но Юлия куталась в платок и жаловалась на сырость. Когда потемнело, ей почему-то стало не по себе, она вся вздрагивала и упрашивала гостей посидеть подольше; она угощала их вином и после ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотелось оставаться одной с детьми и прислугой.

— Мы, дачницы, затеваем здесь спектакль для детей, — сказала она. — Уже все есть у нас — и театр, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали нам десятка два разных пьес, но ни одна не годится. Вот вы любите театр и хорошо знаете историю, — обратилась она к Ярцеву, — напишите-ка нам историческую пьесу.

— Что ж, это можно.

Гости выпили весь коньяк и собрались уходить. Был уже одиннадцатый час, а по-дачному это

поздно.

— Как темно, зги не видать! — говорила Юлия, провожая их за ворота. — И не знаю, как вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она окуталась плотнее и пошла назад к крыльцу.

— А мой Алексей, должно быть, где-нибудь в карты играет! — крикнула она. — Спокойной ночи!

После светлых комнат не было ничего видно. Ярцев и Костя ощупью, как слепые, добрались до полотна железной дороги и перешли его.

— Ни черта не видать, — сказал Костя басом, останавливаясь, и поглядел на небо. — А звезды-то, звезды, точно новенькие пятиалтынные! Гаврилыч!

— А? — отозвался где-то Ярцев.

— Я говорю: не видать ничего. Где вы?

Ярцев, посвистывая, подошел к нему и взял его под руку.

— Эй, дачники! — вдруг закричал Костя во все горло. — Социалиста поймали!

Навеселе он всегда был очень беспокоен, кричал, придирался к городовым и извозчикам, пел, неистово хохотал.

— Природа, черт бы тебя подрал! — закричал

он.

— Ну, ну, — унимал его Ярцев. — Не надо этого. Прошу вас.

Скоро приятели освоились с потемками и стали различать силуэты высоких сосен и телеграфных столбов. С московских вокзалов доносились изредка свистки, и жалобно гудели проволоки. Самая же роща не издавала ни звука, и в этом молчании чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. Приятели отыскали свою просеку и пошли по ней. Было тут совсем темно, и только по длинной полосе неба, усеянной звездами, да по тому, что под ногами была утоптанная земля, они знали, что идут по аллее. Шли рядом молча, и обоим чудилось, будто навстречу им идут какие-то люди. Хмельное настроение покинуло их. Ярцеву пришло в голову, что, быть может, в этой роще носятся теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать это Косте, но удержался.

Когда вышли к заставе, на небе чуть брезжило. Продолжая молчать, Ярцев и Кочевой шли по мостовой мимо дешевых дач, трактиров, лесных складов; под мостом соединительной ветви их прохватила сырость, приятная, с запахом липы,

и потом открылась широкая длинная улица, и на ней ни души, ни огня… Когда дошли до Красного пруда, уже светало.

— Москва — это город, которому придется еще много страдать, — сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь.

— Что это вам пришло в голову?

— Так. Люблю я Москву.

И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее, и относились почему-то враждебно к другим городам; они были убеждены, что Москва — замечательный город, а Россия — замечательная страна. В Крыму, на Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. Дни, когда в окна стучит холодный дождь и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый, печальный цвет, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надеть, — такие дни приятно возбуждали их.

Наконец около вокзала они наняли извозчика.

— В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу, — сказал Ярцев, — но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха… Я ненавижу русские историче-

ские пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, не оригинальной.

Около Дмитровки приятели расстались, и Ярцев поехал дальше к себе на Никитскую. Он дремал, покачивался и все думал о пьесе. Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инеем и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом и так ясно, что можно различить каждую елочку; какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровы, как зарево на небе.

«Это половцы», — думает Ярцев.

Один из них — старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный — привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно… Ярцев встряхнул

головой и проснулся.

— «Мой друг, мой нежный друг…» — запел он.

Расплачиваясь с извозчиком и потом поднимаясь к себе по лестнице, он все никак не мог очнуться и видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес; громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, несся по деревне… А девушка, привязанная к седлу, все смотрела.

Когда он вошел к себе в комнату, то было уже светло. На рояле около раскрытых нот догорали две свечи. На диване лежала Рассудина, в черном платье, в кушаке, с газетой в руках, и крепко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцев, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!» — подумал он.

Осторожно вынув у нее из рук газету, он укрыл ее пледом, потушил свечи и пошел к себе в спальню. Ложась, он думал об исторической пьесе, и из головы у него все не выходил мотив: «Мой друг, мой нежный друг…»

Через два дня заезжал к нему на минутку Лаптев сказать, что Лида заболела дифтеритом и что от нее заразилась Юлия Сергеевна и ребенок, а еще через пять дней пришло известие, что Лида и Юлия выздоравливают, а ребенок умер, и что Лаптевы бежали из своей сокольницкой дачи

в город.

XIV

Лаптеву было уже неприятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться с девочками, но он знал, что она ходит туда не заниматься, а плакать у Кости. Был девятый день, потом двадцатый, потом сороковой, и все нужно было ездить на Алексеевское кладбище слушать панихиду и потом томиться целые сутки, думать только об этом несчастном ребенке и говорить жене в утешение разные пошлости. Он уже редко бывал в амбаре и занимался только благотворительностью, придумывая для себя разные заботы и хлопоты, и бывал рад, когда случалось из-за какого-нибудь пустяка проездить целый день. В последнее время он собирался ехать за границу, чтобы познакомиться там с устройством ночлежных приютов, и эта мысль теперь развлекала его.

Был осенний день. Юлия только что пошла во флигель плакать, а Лаптев лежал в кабинете на диване и придумывал, куда бы уйти. Как раз в это время Петр доложил, что пришла Рассудина. Лаптев обрадовался очень, вскочил и пошел навстречу нежданной гостье, своей бывшей по-

друге, о которой он уже почти стал забывать. С того вечера, как он видел ее в последний раз, она нисколько не изменилась и была все такая же.

— Полина! — сказал он, протягивая к ней обе руки. — Сколько зим, сколько лет! Если б вы знали, как я рад вас видеть! Милости просим!

Рассудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла в кабинет и села.

— Я к вам на одну минуту, — сказала она. — О пустяках мне разговаривать некогда. Извольте сесть и слушать. Рады вы меня видеть или не рады, для меня решительно все равно, так как милостивое внимание ко мне господ мужчин я не ставлю ни в грош. Если же я пришла к вам, то потому, что была сегодня уже в пяти местах и везде получила отказ, между тем дело неотложное. Слушайте, — продолжала она, глядя ему в глаза, — пять знакомых студентов, люди ограниченные и бестолковые, но, несомненно, бедные, не внесли платы, и их теперь исключают. Ваше богатство налагает на вас обязанность поехать сейчас же в университет и заплатить за них.

— С удовольствием, Полина.

— Вот вам их фамилии, — сказала Рассудина, подавая Лаптеву записку. — Поезжайте сию же минуту, а наслаждаться семейным счастьем

успеете после.

В это время за дверью, ведущею в гостиную, послышался какой-то шорох: должно быть, чесалась собака. Рассудина покраснела и вскочила.

— Ваша дульцинея нас подслушивает! — сказала она. — Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлию.

— Ее здесь нет, она во флигеле, — сказал он. — И не говорите о ней так. У нас умер ребенок, и она теперь в ужасном горе.

— Можете успокоить ее, — усмехнулась Рассудина, опять садясь, — будет еще целый десяток. Чтобы рожать детей, кому ума недоставало?

Лаптев вспомнил, что это самое или нечто подобное он слышал уже много раз когда-то давно, и на него пахнуло поэзией минувшего, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что он молод и может все, что хочет, и когда не было любви к жене и воспоминаний о ребенке.

— Поедемте вместе, — сказал он, потягиваясь.

Когда приехали в университет, Рассудина осталась ждать у ворот, а Лаптев пошел в канцелярию; немного погодя он вернулся и вручил Рассудиной пять квитанций.

— Вы теперь куда? — спросил он.

— К Ярцеву.

— И я с вами.

— Но ведь вы будете мешать ему работать.

— Нет, уверяю вас! — сказал он и посмотрел на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка с креповою отделкой и очень короткое поношенное пальто, в котором оттопырились карманы. Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, несмотря на холод. Лаптеву было приятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ее ворчание. Он шел и думал про нее: какова, должно быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, беспокойной, не умея одеться порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

К Ярцеву прошли они черным ходом, через кухню, где встретила их кухарка, чистенькая старушка с седыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась, причем ее маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

— Пожалуйте-с.

Ярцева дома не было. Рассудина села за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказав Лаптеву не мешать ей. И он не развлекал ее разговорами, а сидел в стороне и перелистывал

«Вестник Европы». Проиграв два часа, — это была ее дневная порция, — она поела чего-то в кухне и ушла на уроки. Лаптев прочел продолжение какого-то романа, потом долго сидел, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздал домой к обеду.

— Га-га-га! — послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами. — Га-га-га!

Приятели пообедали вместе. Потом Лаптев лег на диван, а Ярцев сел около и закурил сигарку. Наступили сумерки.

— Я, должно быть, начинаю стареть, — сказал Лаптев. — С тех пор, как умерла сестра Нина, я почему-то стал часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному.

— А не хочется умирать, — тихо сказал Ярцев. — Никакая философия не может помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется.

— Вы любите жизнь, Гаврилыч?

— Да, люблю.

— А вот я никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, не уверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костьми!

— Все это хорошо, голубчик, — сказал Ярцев и вздохнул. — Это только показывает лишний раз, как богата, разнообразна русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!

Ярцев подошел к роялю и взял аккорд.

— Я химик, мыслю химически и умру хими-

ком, — продолжал он. — Но я жаден, я боюсь, что умру не насытившись, и мне мало одной химии, я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку… Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу, и теперь мне хочется писать, писать; так бы, кажется, просидел трое суток, не вставая, и все писал бы. Образы истомили меня, в голове теснота, и я чувствую, как в мозгу моем бьется пульс. Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать… Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше.

После этой дружеской беседы, которая кончилась только в полночь, Лаптев стал бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло к нему. Обыкновенно он приходил перед вечером, ложился и ждал его прихода терпеливо, не ощущая ни малейшей скуки. Ярцев, вернувшись со службы и пообедав, садился за работу, но Лаптев задавал ему какой-нибудь вопрос, начинался разговор, было уже не до работы, а в полночь приятели расставались, очень довольные друг другом.

Но это продолжалось недолго. Как-то придя к

Ярцеву, Лаптев застал у него одну Рассудину, которая сидела за роялем и играла свои экзерцисы. Она посмотрела на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

— Скажите, пожалуйста, когда этому будет конец?

— Чему этому? — спросил Лаптев, не понимая.

— Вы ходите сюда каждый день и мешаете Ярцеву работать. Ярцев не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоценна. Надо же понимать и иметь хотя немножко деликатности!

— Если вы находите, что я мешаю, — сказал Лаптев кротко, смутившись, — то я прекращу свои посещения.

— И прекрасно. Уходите же, а то он может сейчас прийти и застать вас здесь.

Тон, каким это было сказано, и равнодушные глаза Рассудиной окончательно смутили его. У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желания, чтобы он поскорее ушел, — и как это не было похоже на прежнюю любовь! Он вышел, не пожав ей руки, и казалось ему, что она окликнет его и позовет назад, но послышались опять гаммы, и он, медленно спускаясь по лестнице, понял, что он уже чужой для нее.

Дня через три пришел к нему Ярцев, чтобы вместе провести вечер.

— А у меня новость, — сказал он и засмеялся. — Полина Николаевна перебралась ко мне совсем. — Он немножко смутился и продолжал вполголоса: — Что ж? Конечно, мы не влюблены друг в друга, но я думаю, это… это все равно. Я рад, что могу дать ей приют и покой и возможность не работать в случае, если она заболеет, ей же кажется, что оттого, что она сошлась со мной, в моей жизни будет больше порядка и что под ее влиянием я сделаюсь великим ученым. Так она думает. И пускай себе думает. У южан есть поговорка: дурень думкой богатеет. Га-га-га!

Лаптев молчал. Ярцев прошелся по кабинету, посмотрел на картины, которые он уже видел много раз раньше, и сказал, вздыхая:

— Да, друг мой. Я старше вас на три года, и мне уже поздно думать о настоящей любви, и, в сущности, такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка, и, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но, черт его знает, все чего-то жалко, все чего-то хочется, и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал. Одним словом, никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть.

Он пошел в гостиную и как ни в чем не бывало пел романсы, а Лаптев сидел у себя в кабинете, закрывши глаза, старался понять, почему Рассудина сошлась с Ярцевым. А потом он все грустил, что нет прочных, постоянных привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась с Ярцевым, и досадно на себя, что чувство его к жене было уже совсем не то, что раньше.

XV

Лаптев сидел в кресле и читал, покачиваясь; Юлия была тут же в кабинете и тоже читала. Казалось, говорить было не о чем, и оба с утра молчали. Изредка он посматривал на нее через книгу и думал: женишься по страстной любви или совсем без любви — не все ли равно? И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далеким. Он успел уже побывать за границей и теперь отдыхал от поездки и рассчитывал с наступлением весны опять поехать в Англию, где ему очень понравилось.

А Юлия Сергеевна привыкла к своему горю, уже не ходила во флигель плакать. В эту зиму она уже не ездила по магазинам, не бывала в театрах и на концертах, а оставалась дома. Она не любила больших комнат и всегда была или в кабинете мужа, или у себя в комнате, где у нее были киоты, полученные в приданое, и висел на стене тот самый пейзаж, который так понравился ей на выставке. Денег на себя она почти не тратила и проживала теперь так же мало, как когда-то в доме отца.

Зима протекала невесело. Везде в Москве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое развлечение, например пели, читали, рисовали, то выходило еще скучнее. И оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах участвовали все одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, однообразную обязанность.

К тому же у Лаптевых не проходило ни одного дня без огорчений. Старик Федор Степаныч видел очень плохо и уже не бывал в амбаре, и глазные врачи говорили, что он скоро ослепнет; Федор тоже почему-то перестал бывать в амбаре, а сидел все время дома и что-то писал. Панауров получил перевод в другой город с производством в действительные статские советники и теперь жил в «Дрездене» и почти каждый день приезжал к Лаптеву просить денег. Киш, наконец, вышел из университета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные, скучные истории. Все это раздражало и утомляло и делало будничную жизнь неприятной.

Вошел в кабинет Петр и доложил, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточке, которую

он подал, было: «Жозефина Иосифовна Милан».

Юлия Сергеевна лениво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, так как отсидела ногу. В дверях показалась дама, худая, очень бледная, с темными бровями, одетая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила с мольбой:

— Мосье Лаптев, спасите моих детей!

Звон браслетов и лицо с пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы; он узнал ту самую даму, у которой как-то перед свадьбой ему пришлось так некстати пообедать. Это была вторая жена Панаурова.

— Спасите моих детей! — повторила она, и лицо ее задрожало и стало вдруг старым и жалким, и глаза покраснели. — Только вы один можете спасти нас, и я приехала к вам в Москву на последние деньги! Дети мои умрут с голоду!

Она сделала такое движение, как будто хотела стать на колени. Лаптев испугался и схватил ее за руки повыше локтей.

— Садитесь, садитесь… — бормотал он, усаживая ее. — Прошу вас, садитесь.

— У нас теперь нет денег, чтобы купить себе хлеба, — сказала она. — Григорий Николаич уезжает на новую должность, но меня с детьми не хочет брать с собой, и те деньги, которые вы,

великодушный человек, присылали нам, тратит только на себя. Что же нам делать? Что? Бедные, несчастные дети!

— Успокойтесь, прошу вас. Я прикажу в конторе, чтобы эти деньги высылали на ваше имя.

Она зарыдала, потом успокоилась, и он заметил, что от слез у нее по напудренным щекам прошли дорожки и что у нее растут усы.

— Вы великодушны без конца, мосье Лаптев. Но будьте нашим ангелом, нашею доброю феей, уговорите Григория Николаича, чтобы он не покидал меня, а взял с собой. Ведь я его люблю, люблю безумно, он моя отрада.

Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с Панауровым и, провожая до передней, все боялся, как бы она не зарыдала или не стала на колени.

После нее пришел Киш. Потом пришел Костя с фотографическим аппаратом. В последнее время он увлекался фотографией и каждый день по нескольку раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он даже похудел.

Перед вечерним чаем пришел Федор. Севши в кабинете в угол, он раскрыл книгу и долго смотрел все в одну страницу, по-видимому, не читая.

Потом долго пил чай; лицо у него было красное. В его присутствии Лаптев чувствовал на душе тяжесть; даже молчание его было ему неприятно.

— Можешь поздравить Россию с новым публицистом, — сказал Федор. — Впрочем, шутки в сторону, разрешился, брат, я одною статеечкой, проба пера, так сказать, и принес тебе показать. Прочти, голубчик, и скажи свое мнение. Только искренно.

Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так: «Русская душа»; написана она была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые люди, и главная мысль ее была такая: интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь.

— Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу, — сказал Лаптев.

— Это понятно само собой.

— Ничего не понятно, — сказал Лаптев и прошелся в волнении. — Непонятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело.

— Хочу издать отдельною брошюрой.

— Это твое дело.

Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:

— Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобою люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.

— Какой там именитый род? — проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. — Именитый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничишка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал — ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня… ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов, я всех боюсь, потому что

я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!

В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола.

— Вы о чем-то тут спорили? — сказала она. — Я не помешала?

— Нет, сестреночка, — ответил Федор, — разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь: такой-сякой род, — обратился он к брату, — однако же этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь да стоит!

— Велика важность — миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель — его подчиненный и что

он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застенок! Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготовляете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы — их благодетели. Небось вот университетского человека ты в амбар к себе не возьмешь.

— Университетские люди для нашего дела не годятся.

— Неправда! — крикнул Лаптев. — Ложь!

— Извини, мне кажется, ты плюешь в колодезь, из которого пьешь, — сказал Федор и встал. — Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами.

— Ага, договорились! — сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата. — Да не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб. Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня! Я ваш!

Федор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юлии и вышел, но,

вместо того чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню.

— Я забыл расположение комнат, — сказал он в сильном замешательстве. — Странный дом. Не правда ли, странный дом?

Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.

— Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, — сказал он и погладил его по плечу. — Придешь?

— Да, да. Но дайте мне воды.

Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попалось ему под руки, — это была высокая пивная кружка, — налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и

сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.

Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.

— Это ничего, — утешала она. — Это у вас нервы…

— Голубушка, мне так тяжело! — говорил он. — Я несчастлив, несчастлив… но все время я скрывал, скрывал!

Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:

— Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели…

Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался, и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.

— Ты приезжай к нам завтра обедать, — говорил он дорогой, держа его под руку, — а на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.

— Да, да. Я поеду, я поеду… И сестреночку с собой возьмем.

Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холод-

ными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.

— Не уходи от меня, не уходи, — говорила она мужу. — Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе…

К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.

XVI

Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.

В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебен. Он, в своем парусинковом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.

— Это я, ваша невестка, — сказала она, подходя к нему. — Я приехала проведать вас.

Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.

— Спасибо, спасибо, — сказал он. — А я вот глаза потерял и ничего не вижу… Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.

И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.

— Прошу дорогую гостью закусить, — сказал старик.

Она взяла его под руку и подвела к столу, и налила ему водки.

— Я к вам и завтра приеду, — сказала она, — и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.

— Не нужно, не привозите. Они незаконные.

— Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.

— Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.

— Странно вы говорите, Федор Степаныч, — сказала Юлия и вздохнула.

— В Евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.

— Ничего подобного. В Евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.

— В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.

— Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому, — это выше дела, выше богатства.

Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но все, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.

— Федор Степаныч, — сказала Юлия решительно, — вы уже стары, и скоро бог призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам?

— Для своих служащих я был всегда бла-

годетель, и они должны за меня вечно бога молить, — сказал старик с убеждением; но, тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: — Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.

Старик был неаккуратно одет, и на груди, и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

— Я к вам непременно приеду завтра, — сказала она.

Она прошлась по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу, не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели

у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.

— Господи, какое у вас дурное помещение! — сказала она, всплескивая руками. — И вам здесь не тесно?

— В тесноте, да не в обиде, — сказал Макеичев. — Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.

— Соответствие жизни по амбиции личности, — сказал Початкин.

И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:

— Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию.

Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

— Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.

Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем

думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал:

— У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал; мы вместе прожили наше детство и юность, когда-то я любил его всею душой, и вот тебе катастрофа, и мне кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своим прошлым. А теперь, когда ты сказала, что нам необходимо переезжать на Пятницкую, в эту тюрьму, то мне стало казаться, что у меня нет уже и будущего.

Он встал и отошел к окну.

— Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье, — сказал он, глядя на улицу. — Его нет. Его не было никогда у меня и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? — спросил он, обернувшись к жене. — Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние.

В кабинете около шкапов с книгами стоял комод из красного дерева с бронзой, в котором

Лаптев хранил разные ненужные вещи, в том числе зонтик. Он достал его и подал жене.

— Вот он.

Юлия минуту смотрела на зонтик, узнала и грустно улыбнулась.

— Помню, — сказала она. — Когда ты объяснялся мне в любви, то держал его в руках. — И, заметив, что он собирается уходить, она сказала: — Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Без тебя мне скучно.

И потом она ушла к себе в комнату и долго смотрела на зонтик.

XVII

В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было, и из книг, которые вел конторщик, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили в амбар комиссионеры, немцы и англичане, с которыми приказчики говорили о политике и религии; приходил спившийся дворянин, больной жалкий человек, который переводил в конторе иностранную корреспонденцию; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаем с солью. И в общем вся эта торговля представлялась Лаптеву каким-то большим чудачеством.

Он каждый день бывал в амбаре и старался заводить новые порядки; он запрещал сечь мальчиков и глумиться над покупателями, выходил из себя, когда приказчики, с веселым смехом, отпускали куда-нибудь в провинцию залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного. Теперь в амбаре он был главным лицом, но по-прежнему ему не было известно, как велико его состояние, хорошо ли идут его дела, сколько получают жалованья старшие приказчики и т. п. Початкин и Макеичев считали его молодым и

неопытным, многое скрывали от него и каждый вечер о чем-то таинственно шептались со слепым стариком.

Как-то в начале июня Лаптев и Початкин пошли в Бубновский трактир, чтобы позавтракать и кстати поговорить о делах. Початкин служил у Лаптевых уже давно и поступил к ним, когда ему было еще восемь лет. Он был своим человеком, ему доверяли вполне, и когда, уходя из амбара, он забирал из кассы всю выручку и набивал ею карманы, то это не возбуждало никаких подозрений. Он был главным в амбаре и в доме, а также в церкви, где вместо старика исполнял обязанности старосты. За жестокое обращение с подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовым.

Когда пришли в трактир, он кивнул половому и сказал:

— Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками.

— Вот что, любезный, — сказал ему Початкин, — дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре.

Половой не понял и смутился, и хотел что-то сказать, но Початкин строго поглядел на него и сказал:

— Кроме!

Половой думал с напряжением, потом пошел советоваться с товарищами и в конце концов все-таки догадался, принес порцию языка. Когда выпили по две рюмки и закусили, Лаптев спросил:

— Скажите, Иван Васильич, правда ли, что наши дела в последние годы стали падать?

— Ни отнюдь.

— Скажите мне откровенно, начистоту, сколько мы получали и получаем дохода и как велико наше состояние? Нельзя же ведь в потемках ходить. У нас был недавно счет амбара, но, простите, я этому счету не верю; вы находите нужным что-то скрывать от меня и говорите правду только отцу. Вы с ранних лет привыкли к политике и уже не можете обходиться без нее. А к чему она? Так вот, прошу вас, будьте откровенны. В каком положении наши дела?

— Все зависимо от волнения кредита, — ответил Початкин, подумав.

— Что вы разумеете под волнением кредита?

Початкин стал объяснять, но Лаптев ничего не

понял и послал за Макеичевым. Тот немедленно явился, закусил, помолясь, и своим солидным, густым баритоном заговорил прежде всего о том, что приказчики обязаны денно и нощно молить бога за своих благодетелей.

— Прекрасно, только позвольте мне не считать себя вашим благодетелем, — сказал Лаптев.

— Каждый человек должен помнить, что он есть, и чувствовать свое звание. Вы, по милости божией, наш отец и благодетель, а мы ваши рабы.

— Все это, наконец, мне надоело! — рассердился Лаптев. — Пожалуйста, теперь будьте вы моим благодетелем, объясните, в каком положении наши дела. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбар. Отец ослеп, брат в сумасшедшем доме, племянницы мои еще молоды; это дело я ненавижу, я охотно бы ушел, но заменить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради бога!

Пошли в амбар считать. Потом считали вечером дома, причем помогал сам старик; посвящая сына в свои коммерческие тайны, он говорил таким тоном, как будто занимался не торговлей, а колдовством. Оказалось, что доход ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую

часть и что состояние Лаптевых, считая одни только деньги и ценные бумаги, равнялось шести миллионам рублей.

Когда в первом часу ночи, после счетов, Лаптев вышел на свежий воздух, то чувствовал себя под обаянием этих цифр. Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости, и недоставало только часового с ружьем. Лаптев пошел в садик и сел на скамью около забора, отделявшего от соседнего двора, где тоже был садик. Цвела черемуха. Лаптев вспомнил, что эта черемуха во времена его детства была такою же корявой и такого же роста и нисколько не изменилась с тех пор. Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиков. И все это были невеселые воспоминания.

За забором в чужом дворе послышались легкие шаги.

— Моя дорогая, моя милая… — прошептал

мужской голос у самого забора, так что Лаптев слышал даже дыхание.

Вот поцеловались. Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и в конце концов умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих. Но что же мешает ему бросить и миллионы, и дело, и уйти из этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще с детства?

Шепот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на средину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь…

Но он все стоял и не уходил, и спрашивал себя: «Что же меня держит здесь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валя-

лась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему, и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию…

На другой день в полдень он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепною погодой. Дача находилась недалеко от станции в большом парке. Где начиналась главная аллея, шагах в двадцати от ворот, под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлое кремового цвета, а в руках был все тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах.

— Отчего ты так долго не был? — спросила она, не выпуская его руки. — Я целые дни все сижу здесь и смотрю: не едешь ли ты. Мне без тебя скучно.

Она встала и рукой провела по его волосам, и с любопытством оглядывала его лицо, плечи,

шляпу.

— Ты знаешь, я люблю тебя, — сказала она и покраснела. — Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива не знаю как. Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь.

Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку; он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки.

«Как они выросли! — думал он. — И сколько перемен за эти три года… Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет… Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем — увидим».

Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал:

— Кланяется дедушка… дядя Федя скоро умрет, дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам кланяться. Он соскучился на выставке и скоро вернется. А дядя Алеша хочет есть.

Потом он сидел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала, и на ее лице было грустное, оча-

ровательное выражение, и на глазах блестели слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина. И Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в жизни. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и все смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет… И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?

И думал:

«Поживем — увидим».

1895

Моя жизнь
Рассказ провинциала

I

Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы».

Дня через два меня уволили. Итак, за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменил девять должностей. Я служил по различным ведомствам, но все эти девять должностей были похожи одна на другую, как капли воды: я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые или грубые замечания и ждать, когда меня уволят.

Отец, когда я пришел к нему, сидел глубоко в кресле, с закрытыми глазами. Его лицо, тощее, сухое, с сизым отливом на бритых местах (лицом он походил на старого католического органиста), выражало смирение и покорность. Не отвечая на мое приветствие и не открывая глаз, он сказал:

— Если бы моя дорогая жена, а твоя мать была жива, то твоя жизнь была бы для нее источни-

ком постоянной скорби. В ее преждевременной смерти я усматриваю промысл божий. Прошу тебя, несчастный, — продолжал он, открывая глаза, — научи: что мне с тобою делать?

Прежде, когда я был помоложе, мои родные и знакомые знали, что со мною делать: одни советовали мне поступить в вольноопределяющиеся, другие — в аптеку, третьи — в телеграф; теперь же, когда мне уже минуло двадцать пять, и показалась даже седина в висках, и когда я побывал уже и в вольноопределяющихся, и в фармацевтах, и на телеграфе, все земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами.

— Что ты о себе думаешь? — продолжал отец. — В твои годы молодые люди имеют уже прочное общественное положение, а ты взгляни на себя: пролетарий, нищий, живешь на шее отца!

И, по обыкновению, он стал говорить о том, что теперешние молодые люди гибнут, гибнут от неверия, материализма и излишнего самомнения и что надо запретить любительские спектакли, так как они отвлекают молодых людей от религии и обязанностей.

— Завтра мы пойдем вместе, и ты извинишься перед управляющим и пообещаешь ему служить

добросовестно, — заключил он. — Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения.

— Я прошу вас выслушать меня, — сказал я угрюмо, не ожидая ничего хорошего от этого разговора. — То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением.

— Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло! — сказал отец с раздражением. — Пойми ты, тупой человек, пойми, безмозглая голова, что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще дух божий, святой огонь, который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от гада и приближает к божеству! Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей. Твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед твой был поэт, оратор и предводитель дворянства, дядя — педагог, наконец, я, твой отец, — архитектор! Все Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасил его!

— Надо быть справедливым, — сказал я. — Фи-

зический труд несут миллионы людей.

— И пускай несут! Другого они ничего не умеют делать! Физическим трудом может заниматься всякий, даже набитый дурак и преступник, этот труд есть отличительное свойство раба и варвара, между тем как огонь дан в удел лишь немногим!

Продолжать этот разговор было бесполезно. Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображения насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город; главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге, и сын управляющего конторой Государственного банка был уже коллежским асессором, я же, единственный сын, был ничем! Продолжать разговор было бесполезно и неприятно, но я все сидел и слабо возражал, надеясь, что меня наконец поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба, но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы, о Бородине, о святом огне, о дяде, забытом поэте, который когда-то писал плохие

и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мне с детства засела привычка спрашиваться у них, засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь; бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их, боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея и как бы с ним не сделался удар.

— Сидеть в душной комнате, — проговорил я, — переписывать, соперничать с пишущею машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне!

— Все-таки это умственный труд, — сказал отец. — Но довольно, прекратим этот разговор, и во всяком случае я предупреждаю: если ты не поступишь опять на службу и последуешь своим презренным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства — клянусь истинным богом!

Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководиться во всей своей жизни, я сказал:

— Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего.

Почему-то, совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел.

— Не смей так разговаривать со мною, глупец! — крикнул он тонким, визгливым голосом. — Негодяй! — И быстро и ловко, привычным движением ударил меня по щеке раз и другой. — Ты стал забываться!

В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ, но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно.

Я попятился назад в переднюю, и тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам; в это время сестра отворила из гостиной дверь, чтобы узнать, что за шум, но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова.

Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось только выбрать род занятия — и это не представлялось особенно

трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, вынослив, способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянною мыслью о заработке и куске хлеба. И — кто знает? — возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом, но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям, — например, к театру и чтению, — у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду, — не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвертого класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это — умственный труд; моя деятельность в сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема

духа: она была машинной; а такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда.

Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской — это была главная улица в городе, и на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш beau monde.[26] Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя, и из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха, яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гуденье жуков, тишина, тепло — как все это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год! Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе, теперь же близость моя могла бы смутить их, потому что одет я был бедно, не по моде, и про мои очень узкие брюки и большие,

[26] Примечания: 26
Высший свет (*франц.*).

неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на бильярде, и еще оттого, быть может, что меня два раза, без всякого с моей стороны повода, водили к жандармскому офицеру.

В большом доме напротив, у инженера Должикова играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замигали звезды. Вот медленно, отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широкими загнутыми вверх полями, под руку с сестрой.

— Взгляни! — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня. — Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие, — все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!

И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние пятнадцать-двадцать лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную; как

в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями, и потом все они неизбежно оказывались проходными, и в каждой было по две, даже по три лишние двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая; всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибегал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой, и я, как сейчас, вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись и где вместо пола — три громадных ступени вроде банных полок; а кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада упрямое, черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая, а на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными, визгливыми флюгерами. И почему-то все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем.

Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой (как меня назвал Мисаилом). Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках, подолгу объяснял ей, что такое жизнь, что такое долг; и теперь, когда ей было уже двадцать шесть лет, продолжал то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум.

Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела. В доме, что напротив, затихла музыка; отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать!

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одною крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи, — в стены были вбиты большие костыли, — теперь же она была лишней, и отец вот уже тридцать лет складывал в ней

свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно.

Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин: небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли: «деньги счет любят», «копейка рубль бережет» и тому подобное, и сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала.

— Мисаил, — сказала она, — что ты с нами делаешь?

Она не закрывала лица, слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая.

— Ты опять оставил службу… — проговорила она. — О, как это ужасно!

— Но пойми, сестра, пойми… — сказал я, и оттого, что она плакала, мною овладело отчаяние.

Как нарочно, в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали.

— Пощади нас! — сказала сестра, поднимаясь. — Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет? — спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки. — Прошу тебя, умоляю, именем нашей покойной мамы прошу: иди опять на службу!

— Не могу, Клеопатра! — сказал я, чувствуя, что еще немного — и я сдамся. — Не могу!

— Почему? — продолжала сестра. — Почему? Ну, если не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила с Анютой Благово, она уверяет, что тебя примут на железную дорогу, и даже обещала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаил, подумай! Подумай, умоляю тебя!

Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову и что, пожалуй, я готов попробовать.

Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку и потом все еще продолжала плакать,

так как не могла остановиться, а я пошел в кухню за керосином.

II

Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и живых картин с благотворительной целью первое место в городе принадлежало Ажогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской; они всякий раз давали помещение, и они же принимали на себя все хлопоты и расходы. Эта богатая помещичья семья имела в уезде тысяч около трех десятин с роскошною усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лето в городе. Состояла она из матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткие волосы, короткую кофточку и плоскую юбку на английский манер, — и трех дочерей, которых, когда говорили о них, называли не по именам, а просто: старшая, средняя и младшая. Все они были с некрасивыми острыми подбородками, близоруки, сутулы, одеты так же, как мать, неприятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали в каждом представлении и постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью — играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались и даже в водевилях с пением играли

без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией.

Я любил наши спектакли, а особенно репетиции, частые, немножко бестолковые, шумные, после которых нам всегда давали ужинать. В выборе пьес и в распределении ролей я не принимал никакого участия. На мне лежала закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, гримировал, и на меня было возложено также устройство разных эффектов вроде грома, пения соловья и т. п. Так как у меня не было общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я держался особняком, в тени кулис, и застенчиво молчал.

Декорации писал я у Ажогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет пятидесяти, высокий, очень худой и бледный, с впалою грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какою-то изнурительною болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит, но он, полежавши, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер!»

В городе его звали Редькой и говорили, что это

его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ажогиным писать декорации.

На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ажогиных. Репетиция была назначена в семь часов вечера, и за час до начала в зале уже были в сборе все любители, и по сцене ходили старшая, средняя и младшая и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ажогина-мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету.

— Должно быть, трудно писать декорации, — сказала она тихо, подходя ко мне. — А мы только что с мадам Муфке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа.

Пришла дочь инженера Должикова, красивая,

полная блондинка, одетая, как говорили у нас, во все парижское. Она не играла, но на репетициях для нее ставили стул на сцене, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. Ей, как столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и делала она их с милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представления она смотрела как на детскую забаву. Про нее говорили, что она училась петь в Петербургской консерватории и будто даже целую зиму пела в частной опере. Она мне очень нравилась, и обыкновенно на репетициях и во время спектакля я не спускал с нее глаз.

Я уже взял тетрадку, чтобы начать суфлировать, как неожиданно появилась сестра. Не снимая манто и шляпы, она подошла ко мне и сказала:

— Прошу тебя, пойдем.

Я пошел. За сценой, в дверях стояла Анюта Благово, тоже в шляпке, с темною вуалькой. Это была дочь товарища председателя суда, служившего в нашем городе давно, чуть ли не с самого основания окружного суда. Так как она была высока ростом и хорошо сложена, то участие ее в живых картинах считалось обязательным, и когда она

изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ее горело от стыда; но в спектаклях она не участвовала, а заходила на репетиции только на минутку, по какому-нибудь делу, и не шла в зал. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.

— Мой отец говорил о вас, — сказала она сухо, не глядя на меня и краснея. — Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома.

Я поклонился и поблагодарил за хлопоты.

— А это вы можете оставить, — сказала она, указав на тетрадку.

Она и сестра подошли к Ажогиной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то.

— В самом деле, — сказала Ажогина тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо, — в самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий, — она потянула из моих рук тетрадь, — то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с богом.

Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анюта Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть о моем поступлении

на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ажогиных.

Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой, пахнет счастьем, — и все, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг наконец счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету.

— Вы к отцу? — спросила она. — Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас.

Я сел.

— Вы ведь, кажется, против нас живете? — спросила она опять после некоторого молчания.

— Да.

— Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините, — продолжала она, глядя в газету, — и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение.

Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.

— Папа, monsieur Полознев, — сказала дочь.

— Да, да, мне говорил Благово, — живо обратился он ко мне, не подавая руки. — Но, послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! — продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор. — Ходит вас ко мне по двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господá, у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!

И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была

круглая, курчавая бородка — и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.

— Что вы умеете делать? — продолжал он. — Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?

— Конечно, это так… — пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз.

— По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом? — спросил он, подумав.

— Да, я служил на телеграфе.

— Гм… Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная.

— А в чем будут заключаться мои обязанности? — спросил я.

— Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.

Он отошел от меня и даже головой не кивнул.

Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.

Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их.

Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он делает — я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись

параллельно версты на три и исчезали за холмом, — это для меня было всегда непостижимою загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двести тысяч на водопровод; очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать десятка три и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе — и я не понимал этого; мне казалось, было бы проще взять и выложить эти двести тысяч из своего кармана.

Во всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что это дают ему из уважения к его душевным качествам; гимназисты, чтобы переходить из класса в класс, поступали на хлеба к своим учителям, и эти брали с них большие деньги; жена воинского начальника во время набора брала с рекрутов и даже позволяла угощать себя и раз в церкви никак не могла подняться с колен, так как была пьяна; во время набора брали и врачи, а городовой врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры; в уездном училище торговали свидетельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали с подчиненных причтов и церковных старост; в городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вослед: «Благодарить надо!» — и проситель возвращался, чтобы дать 30–40 копеек. А те, которые взяток не брали, как, например, чины судебного ведомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью суждений, играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, имели на среду вредное, развращающее влияние. Лишь от одних девушек веяло нравственною чистотой; у большинства из них были

высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни и верили, что взятки даются из уважения к душевным качествам, и, выйдя замуж, скоро старились, опускались и безнадежно тонули в тине пошлого, мещанского существования.

III

В нашей местности строилась железная дорога. Накануне праздников по городу толпами ходили оборванцы, которых звали «чугункой» и которых боялись. Нередко приходилось мне видеть, как оборванца с окровавленною физиономией, без шапки, вели в полицию, а сзади, в виде вещественного доказательства, несли самовар или недавно вымытое, еще мокрое белье. «Чугунка» обыкновенно толпилась около кабаков и на базарах; она пила, ела, нехорошо бранилась и каждую мимо проходившую женщину легкого поведения провожала пронзительным свистом. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; ей казалось, что ее преследует по пятам какое-то чудовище, она бежала далеко за город, в поле, и там выбивалась из сил; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума.

Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок, разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дороже. По всей линии были уже положены шпалы и рельсы и ходили служебные поезда, возившие строительный материал и рабочих, и задержка была только за мостами, которые строил Должиков, да кое-где не были еще готовы станции.

Дубечня — так называлась наша первая станция — находилась в семнадцати верстах от города. Я шел пешком. Ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. Место было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы… Как хорошо было тут на воле! И как я хотел проникнуться сознанием свободы, хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть есть! Ничто так не мешало мне жить, как острое чувство голода, когда мои лучшие мысли странно мешались с мыслями о гречневой каше, о котлетах, о

жареной рыбе. Вот я стою один в поле и смотрю вверх на жаворонка, который повис в воздухе на одном месте и залился, точно в истерике, а сам думаю: «Хорошо бы теперь поесть хлеба с маслом!» Или вот сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться к этому чудесному майскому шуму, и мне припоминается, как пахнет горячий картофель. При моем большом росте и крепком сложении мне приходилось есть вообще мало, и потому главным чувством моим в течение дня был голод, и потому, быть может, я отлично понимал, почему такое множество людей работает только для куска хлеба и может говорить только о харчах.

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора; около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: «Там увидим». Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и

про какого-то Федота Васильева, я не понимал, и мною мало-помалу овладела тоска, — тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тело и не знаешь, что делать с ними, куда деваться.

Походив, по крайней мере, с два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы и через полторы-две версты оканчивались у белого каменного забора; рабочие сказали, что там контора, и наконец я сообразил, что мне нужно именно туда.

Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной вы-

ходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною, кудрявою головой, в пиджаке из парусинки; он сурово, исподлобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал:

— Здравствуй, маленькая польза!

Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то, в осеннее время, ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью, потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях (я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке), других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку. «Все-таки маленькая польза!» — сказал я себе в утешение, пряча эту копейку, и с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя,

кроме меня, уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище.

Чепраков был не крепкого сложения: узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих — с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительное выражение, будто собирался что-то схватить, и все суетился.

— Да ты постой, — говорил он, суетясь. — Да ты послушай!.. О чем бишь я только что говорил?

Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлою осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга; мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще два года и выпросила для сына место при конторе.

— Еще бы ему не покупать! — сказал Чепраков про инженера. — С одних подрядчиков дерет сколько! Со всех дерет!

Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери.

— Она у меня скряга, — сказал он, — но дорого с тебя не возьмет.

В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно; все они, даже сени и передняя, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома; и мебель была все старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно.

— Это, мамаша, Полознев, — представил меня Чепраков. — Он будет служить тут.

— Вы дворянин? — спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир.

— Да, — ответил я.

— Садитесь.

Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяйка, все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и сознание, что она — барыня-помещица,

имевшая когда-то своих крепостных, что она — генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством; и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну:

— Жан, ты не так держишь нож!

Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя:

— А вы знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут на станции, а это все равно что в имении. Инженер такой добрый! Не находите ли вы, что он очень красив?

Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, недоплачивать приказчикам и рабочим; все боялась, как бы ее не ограбили — и в какие-нибудь десять лет Дубечня стала неузнаваемою.

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная;

старинное фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева — и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не па́рило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше.

Сад, все больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой как

зеркало, изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий, голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это — и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!

И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда всё были молочные, а в среды и в пятницы — постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала — это была у нее такая привычка; и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе.

Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал

или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции, и, перед тем как спать, смотрелся в зеркальце, и кричал:

— Здравствуй, Иван Чепраков!

Пьяный он был очень бледен и все потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.

IV

Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал:

— Ступай, там сестра твоя приехала.

Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анюта Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного: это был брат Анюты, доктор.

— Мы к вам на пикник приехали, — сказал он. — Ничего?

Сестра и Анюта хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анюта Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно:

— Вот так воздух! Мать честная, вот так воздух!

По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил и ходил он, как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своею

высокою и красивою сестрой он казался слабым, жидким; и бородка у него была жидкая, и голос тоже — жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим, и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья — жена и трое детей; женился он рано, когда еще был на втором курсе, и теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой.

— Который теперь час? — беспокоилась сестра. — Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до шести часов.

— Ох, уж ваш папа! — вздохнул доктор.

Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы вошли в дом. Было здесь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкий шум, точно под полом был подвал. Доктор стоя тронул клавиши фортепиано, и оно ответило ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом; он попробовал голос и запел какой-то

романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила:

— Мне весело! Мне очень, очень весело!

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такою веселою. Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная, она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу.

Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых.

Вот они все уехали, шум затих… Я вспомнил, что Анюта Благово за все время не сказала со мною ни одного слова.

«Удивительная девушка! — подумал я. — Удивительная девушка!»

Наступил петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти.

Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он три дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма; при нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал

ответы. Мы трое стояли молча, навытяжку.

— Какие беспорядки! — сказал он, брезгливо заглянув в ведомость. — Через две недели я перевожу контору на станцию и уж не знаю, что мне с вами делать, господа.

— Я стараюсь, ваше высокородие, — проговорил Чепраков.

— То-то, вижу, как вы стараетесь. Только жалованье умеете получать, — продолжал инженер, глядя на меня. — Все надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче faire la carrière.[27] Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотал-с. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с. А ты, Пантелей, что здесь делаешь? — спросил он, повернувшись к Редьке. — Пьянствуешь с ними?

Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал и гонял их со службы холодно, без объяснений.

Наконец приехали за ним лошади. Он на про-

---

[27] Примечания: 27
Сделать карьеру (*франц.*).

щанье пообещал уволить всех нас через две недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город.

— Андрей Иваныч, — сказал я Редьке, — возьмите меня к себе в рабочие.

— Ну, что ж!

И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил:

— Андрей Иваныч, зачем вы давеча приходили в Дубечню?

— Первое, ребята мои работают на линии, а второе — приходил к генеральше проценты платить. Летошний год я у нее полсотню взял и плачу теперь ей по рублю в месяц.

Маляр остановился и взял меня за пуговицу.

— Мисаил Алексеич, ангел вы наш, — продолжал он, — я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый про́цент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать.

Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. Господи, спаси нас грешных!

V

Редька был непрактичен и плохо умел соображать; набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы, и я помню, как он, бывало, из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был превосходный мастер, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей в день, и если бы не это желание — во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги.

Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от семидесяти копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы, главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах, потом же я привык, и все пошло как по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был

обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд»; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, все более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.

В первое время все занимало меня, все было ново, точно я вновь родился. Я мог спать на земле, мог ходить босиком, — а это чрезвычайно приятно; мог стоять в толпе простого народа, никого не стесняя, и когда на улице падала извозчичья лошадь, то я бежал и помогал поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А главное, я жил на свой собственный счет и никому не был в тягость!

Окраска крыш, особенно с нашею олифой и краской, считалась очень выгодным делом, и потому этою грубой, скучной работой не брезговали даже такие хорошие мастера, как Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожий на аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил:

— Горе, горе нам, грешным!

По крыше он ходил так же свободно, как по

полу. Несмотря на то что он был болен и бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная; он так же, как молодые, красил купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестниц и веревки, и было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте далеко от земли, выпрямлялся во весь свой рост и изрекал неизвестно для кого:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу!

Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям:

— Все может быть! Все может быть!

Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки и их хозяева пускали мне вслед разные замечания, насмешливые и злобные, и это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным.

— Маленькая польза! — слышалось со всех сторон. — Маляр! Охра!

И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня, как бы нечаянно, обливали водой и раз даже швырну-

ли в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, загородил мне дорогу и сказал, глядя на меня со злобой:

— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встречах со мною почему-то конфузились. Одни смотрели на меня как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и понять их было трудно. Как-то днем, в одном из переулков около нашей Большой Дворянской, я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинных кисти и ведро с краской. Узнав меня, Анюта вспыхнула.

— Прошу вас не кланяться мне на улице… — проговорила она нервно, сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы. — Если, по-вашему, все это так нужно, то пусть… пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мною!

Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всех снов вообще и даже в пчелах и в осах, которые залетали к ней в комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не

предвещало ничего хорошего.

— Пропала твоя головушка! — говорила она печально, покачивая головой. — Пропала!

С нею в домике жил ее приемыш Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый лет тридцати, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мною в сенях, он молча и почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек. По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне слышно было, как он крякал и вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой.

— Мамаша! — звал он вполголоса.

— Ну? — отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша. — Что, сынок?

— Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню. Сказал — и верно.

Вставал я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ели мы, маляры, очень много и спали крепко, и только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания вроде того, например, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день, но тем не

менее все-таки жили мы между собою дружно. Ребята подозревали во мне религиозного сектанта и добродушно подшучивали надо мною, говоря, что от меня даже родной отец отказался, и тут же рассказывали, что сами они редко заглядывают в храм божий и что многие из них по десяти лет на духу не бывали, и такое свое беспутство оправдывали тем, что маляр среди людей все равно что галка среди птиц.

Ребята уважали меня и относились ко мне с почтением; им, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую, степенную жизнь. Их только неприятно шокировало, что я не участвую в краже олифы и вместе с ними не хожу к заказчикам просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляров в обычае и не считалась кражей, и замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собою немножко белил и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имевшие в Макарихе собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество с первоначатием или окончанием и, получив от него гривенник, униженно благодарили.

С заказчиками они держали себя как лукавые царедворцы, и мне почти каждый день вспоминался шекспировский Полоний.

— А должно быть, дождь будет, — говорил заказчик, глядя на небо.

— Будет, беспременно будет! — соглашались маляры.

— Впрочем, облака не дождевые. Пожалуй, не будет дождя.

— Не будет, ваше высокородие! Верно, не будет.

Заглазно они относились к заказчикам вообще иронически, и когда, например, видели барина, сидящего на балконе с газетой, то замечали:

— Газету читает, а есть небось нечего.

Дома у своих я не бывал. Возвращаясь с работы, я часто находил у себя записки, короткие и тревожные, в которых сестра писала мне об отце: то он был за обедом как-то особенно задумчив и ничего не ел, то пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходил. Такие известия волновали меня, я не мог спать и, случалось даже, ходил ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь в темные окна и стараясь угадать, все ли дома благополучно. По воскресеньям приходила ко мне сестра, но украдкой, будто не ко

мне, а к няньке. И если входила ко мне, то очень бледная, с заплаканными глазами, и тотчас же начинала плакать.

— Наш отец не перенесет этого! — говорила она. — Если, не дай бог, с ним случится что-нибудь, то тебя всю жизнь будет мучить совесть. Это ужасно, Мисаил! Именем нашей матери умоляю тебя: исправься!

— Сестра, дорогая моя, — говорил я, — как исправляться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми!

— Я знаю, что по совести, но, может быть, это можно как-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать.

— Ох, батюшки! — вздыхала за дверью старуха. — Пропала твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде!

VI

В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах.

— А я к вам! — начал он, крепко, по-студенчески, пожимая мне руку. — Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово сказать. Жарко, мать пречистая! — продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе. — Голубчик, позвольте с вами поговорить!

Мне самому было скучно и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренно обрадовался ему.

— Начну с того, — сказал он, садясь на мою постель, — что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь в городе вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь, за весьма малыми исключениями, всё гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы — благородная душа, честный, возвышенный человек! Уважаю

вас и считаю за великую честь пожать вашу руку! — продолжал он восторженно. — Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс, и, чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом и сердцем. Теперь, для начала нашей беседы, скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию, вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?

Мы разговорились, и когда у нас зашла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль: нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть нужно, чтобы все без исключения — и сильные и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд в качестве общей,

для всех обязательной повинности.

— Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения? — спросил доктор.

— Да.

— А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезною опасностью?

— В чем же опасность? — спросил я. — Ведь прогресс — в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса?

— Но позвольте! — вдруг вспылил Благово, вставая. — Но позвольте! Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?

— Почему же — ковыряется? — обиделся я. — Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, это прогресс самый

настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека.

— Пределы общечеловеческого, мирового прогресса в бесконечности, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно.

— Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели его неопределенны, — сказал я. — Жить и не знать определенно, для чего живешь!

— Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете, — ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить — неужели не противно? Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга! Не о них нам надо думать, — ведь они все равно помрут и сгниют, как ни спасайте их от рабства, — надо думать о том великом иксе,

который ожидает все человечество в отдаленном будущем.

Благово спорил со мною горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль.

— Должно быть, ваша сестра не придет, — сказал он, посмотрев на часы. — Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы всё толкуете — рабство, рабство… — продолжал он. — Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой.

Заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос — делать добро или зло, каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность — палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже

культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность.

Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой, к отцу.

— Клеопатра Алексеевна, — сказал Благово убедительно, прижимая обе руки к сердцу, — что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мною и братом каких-нибудь полчаса?

Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные

на запад, казались ярко-золотыми оттого, что заходило солнце.

После этого, всякий раз когда приходила ко мне сестра, являлся и Благово, и оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно-восторженное, умиленное и пытливое, и мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видала даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила.

В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас «погнали» за город, ко мне пришел отец. Он сел и не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской «Вестник» и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате.

— А теперь взгляни на себя, — сказал он, складывая газету, — нищий, оборванец, негодяй! Даже мещане и крестьяне получают образование,

чтобы стать людьми, а ты, Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь! Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою; на тебя я уже махнул рукой, — продолжал он придушенным голосом, вставая. — Я пришел затем, чтобы узнать: где твоя сестра, негодяй? Она ушла из дому после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне, она уже менее почтительна, — и я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?

В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня, но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его.

— Живи как хочешь! — сказал он. — Я лишаю тебя моего благословения!

— Батюшки-светы! — бормотала за дверью нянька. — Бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!

Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно; с полей не свозили хлеба, и в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах, и я помню, как эти печальные кучи с каждым

днем становились все темнее, и зерно прорастало в них. Работать было трудно; ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось, и ютились мы в грязных, сырых землянках, где летом жила «чугунка», и по ночам я не мог спать от холода и оттого, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой «чугунка» только затем, чтобы бить маляров, — для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти и, чтобы раздразнить нас и вызвать на драку, портили нашу работу, например, вымазывали будки зеленою краской. В довершение всех наших бед Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику, этот сдал другому, и уже этот сдал Редьке, выговорив себе процентов двадцать. Работа сама по себе была невыгодна, а тут еще дожди; время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой-христопродавцем, а он, бедняга, вздыхал, в отчаянии воздевал к небу руки и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.

VII

Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные не малярные работы, например, таскал землю для черного наката, получая за это по двугривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти.

И настроение было осеннее. Быть может, оттого, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки, почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаяние. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и две комнаты; мне заплатили по семи

копеек за кусок, но приказали расписаться — по двенадцати, и когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть один из старшин клуба, сказал мне:

— Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду побью.

И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал:

— А черт с ним!

В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами, как с животными, и кричать грубо и нагло: «Обожди! Куда лезешь?» Даже дворовые собаки — и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какою-то особенною злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами: «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие

нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок.

Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней; вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках.

Я поклонился ей.

— А, здравствуйте! — сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку. — Очень рада вас видеть.

Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу; я смутился, и ей тоже стало неловко.

— Вы извините, что я на вас смотрю так, — сказала она. — Мне много говорили о вас. Особенно доктор Благово, — он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась; милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе.

Она опять поглядела на ведро с клейстером, на

обои и продолжала:

— Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить! Я простой человек, — сказала она, протягивая мне руку, — и, надеюсь, у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге.

Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть.

В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно желая хотя немного облегчить мое существование, изредка присылала мне то чаю и лимонов, то печений, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносил это всякий раз солдат, а от кого — неизвестно; и солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обедаю и есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мне таким же образом, в мое отсутствие, с солдатом прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов, и я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово.

К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В один день можно было много сработать, и притом время бежало быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. Само место обязывало к тишине и благочинию и располагало к тихим, серьезным мыслям. Погруженные в работу, мы стояли или сидели неподвижно, как статуи; была тишина мертвая, какая подобает кладбищу, так что если падал инструмент или трещал огонь в лампадке, то звуки эти раздавались гулко и резко — и мы оглядывались. После долгой тишины слышалось гуденье, точно летели пчелы: это у притвора, не торопясь, вполголоса, отпевали младенца; или живописец, писавший на куполе голубя и вокруг него звезды, начинал тихо посвистывать и, спохватившись, тотчас же умолкал; или Редька, отвечая своим мыслям, говорил со вздохом: «Все может быть! Все может быть!»; или над нашими головами раздавался медленный заунывный звон, и маляры замечали, что это, должно быть, богатого покойника несут…

Дни проводил я в этой тишине, в церковных

сумерках, а в длинные вечера играл на бильярде или ходил в театр на галерею в своей новой триковой паре, которую я купил себе на заработанные деньги. У Ажогиных уже начались спектакли и концерты; декорации писал теперь один Редька. Он рассказывал мне содержание пьес и живых картин, какие ему приходилось видеть у Ажогиных, и я слушал его с завистью. Меня сильно тянуло на репетиции, но идти к Ажогиным я не решался.

За неделю до Рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху и вообще старался почему-то придать себе вид отчаянного кутилы. Пил он немного, но шумно и ухитрялся оставлять в таком плохом, дешевом трактире, как «Волга», по двадцати рублей в вечер.

Опять у меня стала бывать сестра; оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ее видно было, что встречи эти были не случайны. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне:

— Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Марии Викторовны, это умница, прелесть, простая, добрая душа.

Я рассказал ему, как весною принял меня инженер.

— Пустое! — рассмеялся доктор. — Инженер — сам по себе, а она — сама по себе. Право, голубчик, не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите?

Он уговорил меня. На другой день вечером, надевши свою новую триковую пару и волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным и мебель такою роскошною, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила как старого знакомого, и пожала руку крепко, дружески. Она была в сером суконном платье с широкими рукавами и в прическе, которую у нас в городе год спустя, когда она вошла в моду, называли «собачьими ушами». Волосы с висков были зачесаны на уши, и от этого лицо у Марии Викторовны стало как будто шире, и она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное, и в выражении было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лет тридцати на вид, хотя на самом деле ей было двадцать пять, не больше.

— Милый доктор, как я ему благодарна! — говорила она, сажая меня. — Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти! Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе.

Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу.

— Вы тратите на себя только то, что зарабатываете? — спросила она.

— Да.

— Счастливый человек! — вздохнула она. — В жизни все зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты, а все это неизбежно, когда привыкаешь жить на счет других. Не подумайте, что я рисуюсь, искренно вам говорю: неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством неправедным — так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.

Она с серьезным, холодным выражением оглядела мебель, точно хотела сосчитать ее, и продолжала:

— Комфорт и удобства обладают волшебною силой; они мало-помалу затягивают людей даже с сильною волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как. Слыханное ли

дело, — сказала она, пожав плечами, — мы проживаем до двадцати тысяч в год! В провинции!

— На комфорт и удобства приходится смотреть как на неизбежную привилегию капитала и образования, — сказал я, — и мне кажется, что удобства жизни можно сочетать с каким угодно, даже с самым тяжелым и грязным трудом. Ваш отец богат, однако же, как он говорит, ему пришлось побывать и в машинистах и в простых смазчиках.

Она улыбнулась и с сомнением покачала головой.

— Папа иногда ест и тюрю с квасом, — сказала она. — Забава, прихоть!

В это время послышался звонок, и она встала.

— Образованные и богатые должны работать, как все, — продолжала она, — а если комфорт, то одинаково для всех. Никаких привилегий не должно быть. Ну, бог с нею, с философией. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные?

Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал, как этнограф, серьезно и вяло. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал, становился на

колени и даже, изображая пьяного, ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слез. Потом он играл на рояле и пел своим приятным жиденьким тенором, а Мария Викторовна стояла возле и выбирала для него, что петь, и поправляла, когда он ошибался.

— Я слышал, вы тоже поете? — спросил я.

— Тоже! — ужаснулся доктор. — Она — чудная певица, артистка, а вы — тоже! Эка хватил!

— Я когда-то занималась серьезно, — ответила она на мой вопрос, — но теперь бросила.

Сидя на низкой скамеечке, она рассказывала нам про свою жизнь в Петербурге и изображала в лицах известных певцов, передразнивая их голоса и манеру петь; рисовала в альбоме доктора, потом меня, рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве неправедном, и мне казалось, что говорила она со мною давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, и даже красивая, солидная Анюта Благово не выдерживала сравнения с нею; разница была громадная,

как между хорошей культурной розой и диким шиповником.

Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком; они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу, и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины, до слез. Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино.

— Талантливые, богато одаренные натуры, — сказала Должикова, — знают, как им жить, и идут своею дорогой; средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут; им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет.

— Разве можно подметить то, чего нет? — спросил доктор.

— Нет, потому что мы не видим.

— Так ли? Общественные течения — это новая литература выдумала. Их нет у нас.

Начался спор.

— Никаких глубоких общественных течений у нас нет и не было, — говорил доктор громко. — Мало ли чего не выдумала новая литература! Она выдумала еще каких-то интеллигентных труже-

ников в деревне, а у нас обыщите все деревни и найдете разве только Неуважай-Корыто в пиджаке или в черном сюртуке, делающего в слове «еще» четыре ошибки. Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад. Течения, веяния, но ведь все это мелко, мизерабельно, притянуто к пошлым, грошовым интересикам — и неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то — поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы еще не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем.

— Вы не понимаете, а я понимаю, — сказала Мария Викторовна. — Вы сегодня бог знает какой скучный!

— Наше дело — учиться и учиться, стараться накоплять возможно больше знаний, потому что серьезные общественные течения там, где знания, и счастье будущего человечества только

в знании. Пью за науку!

— Одно несомненно: надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному, — сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав, — а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит. Не будем говорить о ней.

Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже два часа.

— Понравилась? — спросил доктор. — Не правда ли, славная?

В первый день Рождества мы обедали у Марии Викторовны и потом, в продолжение всех праздников, ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что, кроме меня и доктора, у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил с собою какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. В сущности, это был первый образованный человек, какого я встретил в жизни. Не могу судить, много ли он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, так как хотел, чтобы и другие также знали. Когда он говорил о чем-нибудь относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов, а производил какое-то новое,

особенное впечатление, и мне казалось, что если бы он захотел, то мог бы стать настоящим ученым. И это, пожалуй, был единственный человек, который в то время имел серьезное влияние на меня. Видаясь с ним и прочитывая книги, какие он давал мне, я стал мало-помалу чувствовать потребность в знаниях, которые одухотворяли бы мой невеселый труд. Мне уже казалось странным, что раньше я не знал, например, что весь мир состоит из шестидесяти простых тел, не знал, что такое олифа, что такое краски, и как-то мог обходиться без этих знаний. Знакомство с доктором подняло меня и нравственно. Я часто спорил с ним, и хотя обыкновенно оставался при своем мнении, но все же благодаря ему я мало-помалу стал замечать, что для самого меня не все было ясно, и я уже старался выработать в себе возможно определенные убеждения, чтобы указания совести были определенны и не имели бы в себе ничего смутного. Тем не менее все-таки этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах, в привычке всякий разговор сводить на спор, в его приятном теноре и даже в его ласковости было что-то грубоватое, семинарское, и когда он снимал сюртук и оставался в одной шелковой

рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура — культурой, а татарин все еще бродит в нем.

На Крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась.

— Ты, должно быть, простудилась, — сказал я.

Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова, точно я обидел ее. И немного погодя я слышал, как она говорила тоном горького упрека:

— Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи: разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете! Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!

Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки, — те самые ключи, которые когда-то

еще носила моя мать.

— Ах, ох, батюшки! — ужасалась старуха. — Святители-угодники!

Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала:

— Ты извини меня. Со мною в последнее время делается что-то странное.

VIII

Как-то, вернувшись от Марии Викторовны поздно вечером, я застал у себя в комнате молодого околоточного в новом мундире; он сидел за моим столом и перелистывал книгу.

— Наконец-то! — сказал он, вставая и потягиваясь. — Я к вам уже в третий раз прихожу. Губернатор приказал, чтобы вы пришли к нему завтра ровно в девять часов утра. Непременно.

Он взял с меня подписку, что я в точности исполню приказ его превосходительства, и ушел. Это позднее посещение околоточного и неожиданное приглашение к губернатору подействовали на меня самым угнетающим образом. У меня с раннего детства остался страх перед жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило беспокойство, будто я в самом деле был виноват в чем-то. И я никак не мог уснуть. Нянька и Прокофий тоже были взволнованы и не спали. К тому же еще у няньки болело ухо, она стонала и несколько раз принималась плакать от боли. Услышав, что я не сплю, Прокофий осторожно вошел ко мне с лампочкой и сел у стола.

— Вам бы перцовки выпить... — сказал он, по-

думав. — В сей юдоли как выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамаше влить в ухо перцовки, то большая польза.

В третьем часу он собрался в бойню за мясом. Я знал, что мне уже не уснуть до утра, и, чтобы как-нибудь скоротать время до девяти часов, я отправился вместе с ним. Мы шли с фонарем, а его мальчик Николка, лет тринадцати, с синими пятнами на лице от ознобов, по выражению — совершенный разбойник, ехал за нами в санях, хриплым голосом понукая лошадь.

— Вас у губернатора, должно, наказывать будут, — говорил мне дорогой Прокофий. — Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не дéржитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить.

Бойня находилась за кладбищем, и раньше я видел ее только издали. Это были три мрачных сарая, окруженные серым забором, от которых, когда дул с их стороны ветер, летом в жаркие дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во двор, в потемках я не видел сараев; мне все попадались лошади и сани, пустые и уже нагруженные мясом; ходили люди с фонарями и отвратительно

бранились. Бранились и Прокофий и Николка так же гадко, и в воздухе стоял непрерывный гул от брани, кашля и лошадиного ржанья.

Пахло трупами и навозом. Таяло, снег уже перемешался с грязью, и мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови.

Набравши полные сани мяса, мы отправились на рынок в мясную лавку. Стало светать. Пошли одна за другою кухарки с корзинами и пожилые дамы в салопах. Прокофий с топором к руке, в белом обрызганном кровью фартуке, страшно клялся, крестился на церковь, кричал громко на весь рынок, уверяя, что он отдает мясо по своей цене и даже себе в убыток. Он обвешивал, обсчитывал, кухарки видели это, но, оглушенные его криком, не протестовали, а только обзывали его ка́том. Поднимая и опуская свой страшный топор, он принимал картинные позы и всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!», и я боялся, как бы в самом деле он не отрубил кому-нибудь голову или руку.

Я пробыл в мясной лавке все утро, и когда наконец пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестни-

цу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который молча, двумя руками, указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах; видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась все та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее.

— Господин Полознев, я просил вас явиться, — начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква *о*, — я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и поставить вам на вид все несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы

недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю.

Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником, и глядя на меня совсем не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, все в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет — сорок или шестьдесят.

— Надеюсь, — продолжал он, — что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас — или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же, во избежание соблазна, переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься, чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры.

Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня.

— Вы вегетарианец? — спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, я ем мясо.

Он сел и потянул к себе какую-то бумагу; я поклонился и вышел.

До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором, и, дождавшись вечера, расстроенный, мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила, и вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди.

— Если бы это рассказать в Петербурге! — проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу. — Если бы это рассказать в Петербурге!

IX

Теперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках; иногда входила в церковь и, стоя возле меня, смотрела, как я работаю. Тишина, наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили *ты*— это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне:

— Мисаил, дай-ка мне белил!

Я отнес ему белил, и, когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась.

— Какой вы милый! — сказала она.

У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу.

— Кроме кладбища, мне теперь положительно негде бывать, — говорила она мне со смехом. — Город прискучил до отвращения. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают, я не переношу их в последнее время; ваша сестра — нелюдимка, mademoiselle Благово за что-то ненавидит меня, театра я не люблю. Куда прикажете деваться?

Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром, руки мои были темны — и ей это нравилось; она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем платье; но в гостиной это платье стесняло меня, я конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.

— А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашею новою ролью, — сказала она мне однажды. — Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не оттого ли это, что в вас нет уверенности и что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, эта ваша малярия — неужели она удовлетворяет вас? — спросила она, смеясь. — Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее, но ведь эти предметы принадлежат горожанам, богачам, и в конце концов составляют роскошь. К тому же

вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы…

Она открыла хорошенький шкап, стоявший около ее письменного стола, и сказала:

— Все это я вам к тому говорю, что мне хочется посвятить вас в свою тайну. Voilà! Это моя сельскохозяйственная библиотека. Тут и поле, и огород, и сад, и скотный двор, и пасека. Я читаю с жадностью и уже изучила в теории все до капельки. Моя мечта, моя сладкая греза: как только наступит март, уеду в нашу Дубечню. Дивно там, изумительно! Не правда ли? В первый год я буду приглядываться к делу и привыкать, а на другой год уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, как говорится, живота. Отец обещал подарить мне Дубечню, и я буду делать в ней все, что захочу.

Раскрасневшись, волнуясь до слез и смеясь, она мечтала вслух о том, как она будет жить в

Дубечне и какая это будет интересная жизнь. А я завидовал ей. Март был уже близко, дни становились все больше и больше, и в яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной; мне самому хотелось в деревню.

И когда она сказала, что переедет жить в Дубечню, мне живо представилось, как я останусь в городе один, и я почувствовал, что ревную ее к шкапу с книгами и к сельскому хозяйству. Я не знал и не любил сельского хозяйства и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятие, но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и промолчал.

Наступил Великий пост. Приехал из Петербурга инженер Виктор Иваныч, о существовании которого я уже стал забывать. Приехал он неожиданно, не предупредив даже телеграммой. Когда я пришел, по обыкновению, вечером, он, умытый, подстриженный, помолодевший лет на десять, ходил по гостиной и что-то рассказывал; дочь его, стоя на коленях, вынимала из чемоданов коробки, флаконы, книги и подавала все это лакею Павлу. Увидав инженера, я невольно сделал шаг назад, а он протянул ко мне обе руки и сказал, улыбаясь, показывая свои белые, крепкие, ямщицкие зубы:

— Вот и он, вот и он! Очень рад видеть вас, господин маляр! Маша все рассказала, она тут спела вам целый панегирик. Вполне вас понимаю и одобряю! — продолжал он, беря меня под руку. — Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить казенную бумагу и носить на лбу кокарду. Я сам работал в Бельгии, вот этими руками, потом ходил два года машинистом…

Он был в коротком пиджаке и по-домашнему в туфлях, ходил, как подагрик, слегка переваливаясь и потирая руки. Что-то напевая, он тихо мурлыкал и все пожимался от удовольствия, что наконец вернулся домой и принял свой любимый душ.

— Спора нет, — говорил он мне за ужином, — спора нет, все вы милые, симпатичные люди, но почему-то, господа, как только вы беретесь за физический труд или начинаете спасать мужика, то все это у вас в конце концов сводится к сектантству. Разве вы не сектант? Вот вы не пьете водки. Что же это, как не сектантство?

Чтобы доставить ему удовольствие, я выпил водки. Выпил и вина. Мы пробовали сыры, колбасы, паштеты, пикули и всевозможные закуски, которые привез с собою инженер, и вина, полученные в его отсутствие из-за границы. Вина

были превосходны. Почему-то вина и сигары инженер получал из-за границы беспошлинно; икру и балыки кто-то присылал ему даром, за квартиру он не платил, так как хозяин дома поставлял на линию керосин; и вообще на меня он и его дочь производили такое впечатление, будто все лучшее в мире было к их услугам и получалось ими совершенно даром.

Я продолжал бывать у них, но уже не так охотно. Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувствовал себя связанным. Я не выносил его ясных, невинных глаз, рассуждения его томили меня, были мне противны; томило и воспоминание о том, что еще так недавно я был подчинен этому сытому, румяному человеку и что он был со мною немилосердно груб. Правда, он брал меня за талию, ласково хлопал по плечу, одобрял мою жизнь, но я чувствовал, что он по-прежнему презирает мое ничтожество и терпит меня только в угоду своей дочери; и я уже не мог смеяться и говорить, что хочу, и держался нелюдимом, и все ждал, что, того и гляди, он обзовет меня Пантелеем, как своего лакея Павла. Как возмущалась моя провинциальная, мещанская гордость! Я, пролетарий, маляр, каждый день хожу к людям богатым, чуждым мне, на которых весь город

смотрит как на иностранцев, и каждый день пью у них дорогие вина и ем необыкновенное — с этим не хотела мириться моя совесть! Идя к ним, я угрюмо избегал встречных и глядел исподлобья, точно в самом деле был сектантом, а когда уходил от инженера домой, то стыдился своей сытости.

А главное, я боялся увлечься. Шел ли я по улице, работал ли, говорил ли с ребятами, я все время думал только о том, как вечером пойду к Марии Викторовне, и воображал себе ее голос, смех, походку. Собираясь к ней, я всякий раз долго стоял у няньки перед кривым зеркалом, завязывая себе галстук, моя триковая пара казалась мне отвратительною, и я страдал, и в то же время презирал себя за то, что я так мелочен. Когда она кричала мне из другой комнаты, что она не одета, и просила подождать, я слышал, как она одевалась; это волновало меня, я чувствовал, будто подо мною опускается пол. А когда я видел на улице, хотя бы издали, женскую фигуру, то непременно сравнивал; мне казалось тогда, что все наши женщины и девушки вульгарны, нелепо одеты, не умеют держать себя; и эти сравнения возбуждали во мне чувство гордости: Мария Викторовна лучше всех! А по ночам я видел ее и себя во сне.

Как-то за ужином мы вместе с инженером съе-

ли целого омара. Возвращаясь потом домой, я вспомнил, что инженер за ужином два раза сказал мне «любезнейший», и я рассудил, что в этом доме ласкают меня, как большого несчастного пса, отбившегося от своего хозяина, что мною забавляются и, когда я надоем, меня прогонят, как пса. Мне стало стыдно и больно, больно до слез, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, дал клятву положить всему этому конец.

На другой день я не пошел к Должиковым. Поздно вечером, когда было совсем темно и лил дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ажогиных уже спали, и только в одном из крайних окон светился огонь; это у себя в комнате старуха Ажогина вышивала при трех свечах, воображая, что борется с предрассудками. У наших было темно, а в доме напротив, у Должиковых, окна светились, но ничего нельзя было разглядеть сквозь цветы и занавески. Я все ходил по улице; холодный мартовский дождь поливал меня. Я слышал, как мой отец вернулся из клуба; он постучал в ворота, через минуту в окне показался огонь, и я увидел сестру, которая шла торопливо с лампой и на ходу одною рукой поправляла свои густые волосы. Потом отец ходил в гостиной из угла в угол и говорил о чем-то,

потирая руки, а сестра сидела в кресле неподвижно, о чем-то думая, не слушая его.

Но вот они ушли, огонь погас… Я оглянулся на дом инженера — и тут уже было темно. В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы, почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием, настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в жизни, мелки все мои дела, желания и все то, что я до сих пор думал, говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби! И, не отдавая себе ясно отчета в том, что я делаю, я изо всей силы дернул за звонок у ворот Должикова, порвал его и побежал по улице, как мальчишка, испытывая страх и думая, что сейчас непременно выйдут и узнают меня. Когда я остановился в конце улицы, чтобы перевести дух, слышно было только, как шумел дождь да как где-то далеко по чугунной доске стучал сторож.

Я целую неделю не ходил к Должиковым. Триковая пара была продана. Малярной работы не было, я опять жил впроголодь, добывая себе по десять-двадцать копеек в день, где придется, тяжелою, неприятною работой. Болтаясь по колена в холодной грязи, надсаживая грудь, я хотел

заглушить воспоминания и точно мстил себе за все те сыры и консервы, которыми меня угощали у инженера; но все же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, как мое грешное воображение тотчас же начинало рисовать мне чудные, обольстительные картины, и я с изумлением сознавался себе, что я люблю, страстно люблю, и засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе.

В один из вечеров некстати пошел снег и подуло с севера, точно опять наступала зима. Вернувшись с работы в этот вечер, я застал в своей комнате Марию Викторовну. Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте.

— Отчего вы не бываете у меня? — спросила она, поднимая свои умные, ясные глаза, и я сильно смутился от радости и стоял перед ней навытяжку, как перед отцом, когда тот собирался бить меня; она смотрела мне в лицо, и по глазам ее было видно, что она понимает, почему я смущен.

— Отчего вы не бываете у меня? — повторила она. — Если вы не хотите бывать, то вот я сама пришла.

Она встала и близко подошла ко мне.

— Не покидайте меня, — сказала она, и глаза ее

наполнились слезами. — Я одна, я совершенно одна!

Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой:

— Одна! Мне тяжело жить, очень тяжело, и на всем свете нет у меня никого, кроме вас. Не покидайте меня!

Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась; мы молчали некоторое время, потом я обнял ее и поцеловал, при этом оцарапал себе щеку до крови булавкой, которою была приколота ее шапка.

И мы стали говорить так, как будто были близки друг другу уже давно-давно…

X

Дня через два она послала меня в Дубечню, и я был несказанно рад этому. Когда я шел на вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся без причины, и на меня смотрели как на пьяного. Шел снег, и был мороз по утрам, но дороги уже потемнели, и над ними, каркая, носились грачи.

Сначала я предполагал устроить помещение для нас обоих, для меня и Маши, в боковом флигеле, против флигеля госпожи Чепраковой, но в нем, как оказалось, издавна жили голуби и утки, и очистить его было невозможно без того, чтобы не разрушить множества гнезд. Пришлось волей-неволей отправляться в неуютные комнаты большого дома с жалюзи. Мужики называли этот дом палатами; в нем было больше двадцати комнат, а мебели только одно фортепиано да детское креслице, лежавшее на чердаке, и если бы Маша привезла из города всю свою мебель, то и тогда все-таки нам не удалось бы устранить этого впечатления угрюмой пустоты и холода. Я выбрал три небольшие комнаты с окнами в сад и с раннего утра до ночи убирал их, вставляя новые стекла, оклеивая обоями, заделывая в полу щели

и дыры. Это был легкий, приятный труд. То и дело я бегал к реке взглянуть, не идет ли лед; все мне чудилось, что прилетели скворцы. А ночью, думая о Маше, я с невыразимо сладким чувством, с захватывающею радостью прислушивался к тому, как шумели крысы и как над потолком гудел и стучал ветер; казалось, что на чердаке кашлял старый домовой.

Снег был глубокий; его много еще подвалило в конце марта, но он растаял быстро, как по волшебству, вешние воды прошли буйно, так что в начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день перед вечером ходил к городу встречать Машу, и что это было за наслаждение ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дороге! На полпути я садился и смотрел на город, не решаясь подойти к нему близко. Вид его смущал меня. Я все думал: как отнесутся ко мне мои знакомые, узнав о моей любви? Что скажет отец? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась и что я совсем потерял способность управлять ею, и она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда. Я уже не думал о том, как мне добыть себе пропитание, как жить, а думал — право, не помню о чем.

Маша приезжала в коляске; я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недоумевая, отчего не приехала Маша, а у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение — она! Оказывалось, что она приехала по железной дороге и со станции пришла пешком. Какое это было торжество! В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком, но затянутая, стройная, в дорогих заграничных ботинках — это была талантливая актриса, игравшая мещаночку. Мы осматривали наше хозяйство и решали, где будет чья комната, где у нас будут аллеи, огород, пасека. У нас уже были куры, утки и гуси, которых мы любили за то, что они были наши. У нас уже были приготовлены для посева овес, клевер, тимошка, греча и огородные семена, и мы всякий раз осматривали все это и обсуждали подолгу, какой может быть урожай, и все, что говорила мне Маша, казалось мне необыкновенно умным и прекрасным. Это было самое счастливое время моей жизни.

Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церкви, в селе Куриловке, в трех верстах от Дубечни. Маша хотела, чтобы

все устроилось скромно; по ее желанию, шаферами у нас были крестьянские парни, пел один дьячок, и возвращались мы из церкви на небольшом тряском тарантасе, и она сама правила. Из городских гостей у нас была только моя сестра Клеопатра, которой дня за три до свадьбы Маша послала записку. Сестра была в белом платье и в перчатках. Во время венчания она тихо плакала от умиления и радости, выражение лица у нее было материнское, бесконечно доброе. Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад, и, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви, и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и целовала Машу и, не зная, как выразить свой восторг, говорила ей про меня:

— Он добрый! Он очень добрый!

Перед тем как уехать от нас, она переоделась в свое обыкновенное платье и повела меня в сад, чтобы поговорить со мною наедине.

— Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему, — сказала она, — нужно было попросить у него благословения. Но, в сущности, он очень доволен. Он говорит, что эта женитьба поднимет

тебя в глазах всего общества и что под влиянием Марии Викторовны ты станешь серьезнее относиться к жизни. Мы по вечерам теперь говорим только о тебе, и вчера он даже выразился так: «Наш Мисаил». Это меня порадовало. По-видимому, он что-то задумал, и мне кажется, он хочет показать тебе пример великодушия и первый заговорит о примирении. Очень возможно, что на днях он приедет сюда к вам.

Она несколько раз торопливо перекрестила меня и сказала:

— Ну, бог с тобою, будь счастлив. Анюта Благово очень умная девушка, она говорит про твою женитьбу, что это бог посылает тебе новое испытание. Что ж? В семейной жизни не одни радости, но и страдания. Без этого нельзя.

Провожая ее, я и Маша прошли пешком версты три; потом, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша держала меня за руку, на душе было легко, и уже не хотелось говорить о любви; после венчания мы стали друг другу еще ближе и родней, и нам казалось, что уже ничто не может разлучить нас.

— Твоя сестра — симпатичное существо, — сказала Маша, — но похоже, будто ее долго мучили. Должно быть, твой отец ужасный человек.

Я стал рассказывать ей, как воспитывали меня и сестру и как в самом деле было мучительно и бестолково наше детство. Узнав, что еще так недавно меня бил отец, она вздрогнула и прижалась ко мне.

— Не рассказывай больше, — проговорила она. — Это страшно.

Теперь уже она не расставалась со мною. Мы жили в большом доме, в трех комнатах, и по вечерам крепко запирали дверь, которая вела в пустую часть дома, точно там жил кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставал рано, с рассветом, и тотчас же принимался за какую-нибудь работу. Я починял телеги, проводил в саду дорожки, копал гряды, красил крышу на доме. Когда пришло время сеять овес, я пробовал двоить, скородить, сеять и делал все это добросовестно, не отставая от работника; я утомлялся, от дождя и от резкого холодного ветра у меня подолгу горели лицо и ноги, по ночам снилась мне вспаханная земля. Но полевые работы не привлекали меня. Я не знал сельского хозяйства и не любил его; это, быть может, оттого, что предки мои не были земледельцами и в жилах моих текла чисто городская кровь. Природу я любил нежно, любил и поле, и луга, и огороды, но мужик, поднимающий сохой

землю, понукающий свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, с вытянутою шеей, был для меня выражением грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжие движения, я всякий раз невольно начинал думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребления огня. Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и лошади, когда они, стуча копытами, носились по деревне, наводили на меня страх, и все мало-мальски крупное, сильное и сердитое, был ли то баран с рогами, гусак или цепная собака, представлялось мне выражением все той же грубой дикой силы. Это предубеждение особенно сильно говорило во мне в дурную погоду, когда над черным вспаханным полем нависали тяжелые облака. Главное же, когда я пахал или сеял, а двое-трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь. И я предпочитал делать что-нибудь во дворе, и ничто мне так не нравилось, как красить крышу.

Я ходил через сад и через луг на нашу мельницу. Ее арендовал Степан, куриловский мужик, красивый, смуглый, с густою черною бородой, на вид — силач. Мельничного дела он не лю-

бил и считал его скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома. Он был шорник, и около него всегда приятно пахло смолой и кожей. Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен, и все напевал «у-лю-лю-лю», сидя на берегу или на пороге. К нему приходили иногда из Куриловки его жена и теща, обе белолицые, томные, кроткие; они низко кланялись ему и называли его «вы, Степан Петрович». А он, не ответив на их поклон ни движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо: «у-лю-лю-лю». Проходил в молчании час-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и некоторое время глядели на него, ожидая, что он оглянется, потом низко кланялись и говорили сладкими, певучими голосами:

— Прощайте, Степан Петрович!

И уходили. После того, убирая оставленный ими узел с баранками или рубаху, Степан вздыхал и говорил, мигнув в их сторону:

— Женский пол!

Мельница в два постава работала днем и ночью. Я помогал Степану, это мне нравилось, и когда он уходил куда-нибудь, я охотно оставался вместо него.

XI

После теплой, ясной погоды наступила распутица; весь май шли дожди, было холодно. Шум мельничных колес и дождя располагал к лени и ко сну. Дрожал пол, пахло мукой, и это тоже нагоняло дремоту. Жена в коротком полушубке, в высоких, мужских калошах, показывалась раза два в день и говорила всегда одно и то же:

— И это называется летом! Хуже, чем в октябре!

Вместе мы пили чай, варили кашу или по целым часам сидели молча, ожидая, не утихнет ли дождь. Раз, когда Степан ушел куда-то на ярмарку, Маша пробыла на мельнице всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который час, так как дождевые облака заволокли все небо; только пели сонные петухи в Дубечне и кричали дергачи на лугу; было еще очень, очень рано… Мы с женой спустились к плёсу и вытащили вершу, которую накануне при нас забросил Степан. В ней бился один большой окунь и, задирая вверх клешню, топорщился рак.

— Выпусти их, — сказала Маша. — Пусть и они будут счастливы.

Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным, самым длинным в моей жизни. Перед вечером вернулся Степан, и я пошел домой, в усадьбу.

— Сегодня приезжал твой отец, — сказала мне Маша.

— Где же он? — спросил я.

— Уехал. Я его не приняла.

Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала:

— Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам.

Через минуту я уже был за воротами и шел в город, чтобы объясниться с отцом. Было грязно, скользко, холодно. В первый раз после свадьбы мне стало грустно, и в мозгу моем, утомленном этим длинным серым днем, промелькнула мысль, что, быть может, я живу не так, как надо. Я утомился, мало-помалу мною овладели слабодушие, лень, не хотелось двигаться, соображать, и, пройдя немного, я махнул рукой и вернулся назад.

Среди двора стоял инженер в кожаном пальто с капюшоном и говорил громко:

— Где мебель? Была прекрасная мебель в стиле

empire, были картины, были вазы, а теперь хоть шаром покати! Я покупал имение с мебелью, черт бы ее драл!

Около него стоял и мял в руках свою шапку генеральшин работник Моисей, парень лет двадцати пяти, худой, рябоватый, с маленькими наглыми глазами; одна щека у него была больше другой, точно он отлежал ее.

— Вы, ваше высокоблагородие, изволили покупать без мебели, — нерешительно проговорил он. — Я помню-с.

— Замолчать! — крикнул инженер, побагровел, затрясся, и эхо в саду громко повторило его крик.

XII

Когда я делал что-нибудь в саду или на дворе, то Моисей стоял возле и, заложив руки назад, лениво и нагло глядел на меня своими маленькими глазками. И это до такой степени раздражало меня, что я бросал работу и уходил.

От Степана мы узнали, что этот Моисей был любовником у генеральши. Я заметил, что когда к ней приходили за деньгами, то сначала обращались к Моисею, и раз я видел, как какой-то мужик, весь черный, должно быть угольщик, кланялся ему в ноги; иногда, пошептавшись, он выдавал деньги сам, не докладывая барыне, из чего я заключил, что при случае он оперировал самостоятельно, за свой счет.

Он стрелял у нас в саду под окнами, таскал из нашего погреба съестное, брал, не спросясь, лошадей, а мы возмущались, переставали верить, что Дубечня наша, и Маша говорила, бледнея:

— Неужели мы должны жить с этими гадами еще полтора года?

Сын генеральши, Иван Чепраков, служил кондуктором на нашей дороге. За зиму он сильно похудел и ослабел, так что уже пьянел с одной

рюмки и зябнул в тени. Кондукторское платье он носил с отвращением и стыдился его, но свое место считал выгодным, так как мог красть свечи и продавать их. Мое новое положение возбуждало в нем смешанное чувство удивления, зависти и смутной надежды, что и с ним может случиться что-нибудь подобное. Он провожал Машу восхищенными глазами, спрашивал, что я теперь ем за обедом, и на его тощем, некрасивом лице появлялось грустное и сладкое выражение, и он шевелил пальцами, точно осязал мое счастье.

— Послушай, маленькая польза, — говорил он суетливо, каждую минуту закуривая; там, где он стоял, было всегда насорено, так как на одну папиросу он тратил десятки спичек. — Послушай, жизнь у меня теперь подлейшая. Главное, всякий прапорщик может кричать: «Ты кондуктор! ты!» Понаслушался я, брат, в вагонах всякой всячины и, знаешь, понял: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мне в вагоне один доктор сказал: если родители развратные, то дети у них выходят пьяницы или преступники. Вот оно что!

Раз он пришел во двор, шатаясь. Глаза у него бессмысленно блуждали, дыхание было тяжелое; он смеялся, плакал и говорил что-то, как в горячечном бреду, и в его спутанной речи были

понятны для меня только слова: «Моя мать! Где моя мать?», которые произносил он с плачем, как ребенок, потерявший в толпе свою мать. Я увел его к себе в сад и уложил там под деревом, и потом весь день и всю ночь я и Маша по очереди сидели возле него. Ему было нехорошо, а Маша с омерзением глядела в его бледное, мокрое лицо и говорила:

— Неужели эти гады проживут в нашем дворе еще полтора года? Это ужасно! Это ужасно!

А сколько огорчений причиняли нам крестьяне! Сколько тяжелых разочарований на первых же порах, в весенние месяцы, когда так хотелось быть счастливым! Моя жена строила школу. Я начертил план школы на шестьдесят мальчиков, и земская управа одобрила его, но посоветовала строить школу в Куриловке, в большом селе, которое было всего в трех верстах от нас; кстати же, куриловская школа, в которой учились дети из четырех деревень, в том числе из нашей Дубечни, была стара и тесна, и по гнилому полу уже ходили с опаской. В конце марта Машу, по ее желанию, назначили попечительницей куриловской школы, а в начале апреля мы три раза собирали сход и убеждали крестьян, что их школа тесна и стара и что необходимо строить новую.

Приезжали член земской управы и инспектор народных училищ и тоже убеждали. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки; нам было жарко в толпе, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на своих лошадях весь строительный материал. И как только управились с яровыми, в первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером; мужики были пьяны и говорили, что замучились.

Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь из города, заезжали обыкновенно к нам во двор — и какой это был ужас! Вот в воротах показывается лошадь, расставив передние ноги, пузатая; она, прежде чем въехать во двор, кланяется; вползает на роспусках двенадцатиаршинное бревно, мокрое, осклизлое на вид; возле него, запахнувшись от дождя, не глядя под ноги, не обходя луж, шагает мужик с полой, заткнутою за пояс. Показывается другая подвода — с тесом, потом третья — с бревном, четвертая… и место перед домом мало-помалу запруживается

лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы с окутанными головами и с подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумят, требуют, чтобы к ним вышла барыня; слышны грубые ругательства. А в стороне стоит Моисей, и нам кажется, что он наслаждается нашим позором.

— Не станем больше возить! — кричат мужики. — Замучились! Пошла бы сама и возила!

Маша, бледная, оторопев, думая, что сейчас к ней ворвутся в дом, высылает на полведра; после этого шум стихает, и длинные бревна одно за другим ползут обратно со двора.

Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила:

— Мужики злятся. Как бы они тебе не сделали чего-нибудь. Нет, погоди, и я с тобой поеду.

Мы уезжали в Куриловку вместе, и там плотники просили у нас на чай. Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики; происходила задержка, и плотники роптали. А когда наконец пришли каменщики, то оказалось, что нет песку: как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по тридцати копеек за воз, хотя от постройки до реки, где

брали песок, не было и четверти версты, а всех возов понадобилось более пятисот. Конца не было недоразумениям, брани и попрошайству, жена возмущалась, а подрядчик-каменщик, Тит Петров, семидесятилетний старик, брал ее за руку и говорил:

— Гляди ты сюда! Гляди ты сюда! Привези ты мне только песку, пригоню тебе сразу десять человек, и в два дня будет готово. Гляди ты сюда!

Но привезли песок, прошло и два, и четыре дня, и неделя, а на месте будущего фундамента все еще зияла канава.

— Этак с ума сойдешь! — волновалась жена. — Что за народ! Что за народ!

Во время этих неурядиц к нам приезжал инженер Виктор Иваныч. Он привозил с собою кульки с винами и закусками, долго ел и потом ложился спать на террасе и храпел так, что работники покачивали головами и говорили:

— Одначе!

Маша бывала не рада его приезду, не верила ему и в то же время советовалась с ним; когда он, выспавшись после обеда и вставши не в духе, дурно отзывался о нашем хозяйстве или выражал сожаление, что купил Дубечню, которая принесла ему уже столько убытков, то на лице у бедной

Маши выражалась тоска; она жаловалась ему, он зевал и говорил, что мужиков надо драть.

Нашу женитьбу и нашу жизнь он называл комедией, говорил, что это каприз, баловство.

— С нею уже бывало нечто подобное, — рассказывал он мне про Машу. — Она раз вообразила себя оперною певицей и ушла от меня; я искал ее два месяца и, любезнейший, на одни телеграммы истратил тысячу рублей.

Он уже не называл меня ни сектантом, ни господином маляром и не относился с одобрением к моей рабочей жизни, как раньше, а говорил:

— Вы — странный человек! Вы — ненормальный человек! Не смею предсказывать, но вы дурно кончите-с!

А Маша плохо спала по ночам и все думала о чем-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смеха за ужином, ни милых гримас. Я страдал, и когда шел дождь, то каждая капля его врезывалась в мое сердце, как дробь, и я готов был пасть перед Машей на колени и извиняться за погоду. Когда во дворе шумели мужики, то я тоже чувствовал себя виноватым. По целым часам я просиживал на одном месте, думая только о том, какой великолепный человек Маша, какой это чудесный человек. Я страстно любил ее, и меня

восхищало все, что она делала, все, что говорила. У нее была склонность к тихим кабинетным занятиям, она любила читать подолгу, изучать что-нибудь; она, знавшая хозяйство только по книгам, удивляла всех нас своими познаниями, и советы, какие она давала, все пригодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве даром. И при всем том сколько благородства, вкуса и благодушия, того самого благодушия, какое бывает только у прекрасно воспитанных людей!

Для этой женщины со здоровым, положительным умом беспорядочная обстановка с мелкими заботами и дрязгами, в которой мы теперь жили, была мучительна; я это видел и сам не мог спать по ночам, голова моя работала, и слезы подступали к горлу. Я метался, не зная, что делать.

Я скакал в город и привозил Маше книги, газеты, конфеты, цветы, я вместе со Степаном ловил рыбу, по целым часам бродя по шею в холодной воде под дождем, чтобы поймать налима и разнообразить наш стол; я униженно просил мужиков не шуметь, поил их водкой, подкупал, давал им разные обещания. И сколько я еще делал глупостей!

Дожди наконец перестали, земля высохла. Встанешь утром, часа в четыре, выйдешь в сад — роса

блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни одного облачка; и сад, и луг, и река так прекрасны, но воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере! Я и Маша вместе уезжали на беговых дрожках в поле взглянуть на овес. Она правила, я сидел сзади; плечи у нее были приподняты, и ветер играл ее волосами.

— Права держи! — кричала она встречным.

— Ты похожа на ямщика, — сказал я ей как-то.

— А может быть! Ведь мой дед, отец инженера, был ямщик. Ты не знал этого? — спросила она, обернувшись ко мне, и тотчас же представила, как кричат и как поют ямщики.

«И слава богу! — думал я, слушая ее. — Слава богу!»

И опять воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере…

XIII

Приехал на велосипеде доктор Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическом труде, о прогрессе, о таинственном иксе, ожидающем человечество в отдаленном будущем. Доктор не любил нашего хозяйства, потому что оно мешало нам спорить, и говорил, что пахать, косить, пасти телят недостойно свободного человека и что все эти грубые виды борьбы за существование люди со временем возложат на животных и на машины, а сами будут заниматься исключительно научными исследованиями. А сестра все просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до позднего вечера или ночевать, то волнениям не было конца.

— Боже мой, какой вы еще ребенок! — говорила с упреком Маша. — Это даже смешно наконец.

— Да, смешно, — соглашалась сестра, — я сознаю, что это смешно; но что делать, если я не в силах побороть себя? Мне все кажется, что я поступаю дурно.

Во время сенокоса у меня с непривычки болело все тело; сидя вечером на террасе со своими и разговаривая, я вдруг засыпал, и надо мною

громко смеялись. Меня будили и усаживали за стол ужинать, меня одолевала дремота, и я, как в забытьи, видел огни, лица, тарелки, слышал голоса и не понимал их. А вставши рано утром, тотчас же брался за косу или уходил на постройку и работал весь день.

Оставаясь в праздники дома, я замечал, что жена и сестра скрывают от меня что-то и даже как будто избегают меня. Жена была нежна со мною по-прежнему, но были у нее какие-то свои мысли, которых она не сообщала мне. Было несомненно, что раздражение ее против крестьян росло, жизнь для нее становилась все тяжелее, а между тем она уже не жаловалась мне. С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною, и я не понимал, отчего это так.

В нашей губернии был обычай: во время сенокоса и уборки хлеба по вечерам на барский двор приходили рабочие и их угощали водкой, даже молодые девушки выпивали по стакану. Мы не держались этого; косари и бабы стояли у нас на дворе до позднего вечера, ожидая водки, и потом уходили с бранью. А Маша в это время сурово хмурилась и молчала или же говорила доктору с раздражением, вполголоса:

— Дикари! Печенеги!

В деревне новичков встречают неприветливо, почти враждебно, как в школе. Так встретили и нас. В первое время на нас смотрели как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи; а так как мы еще не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф; потом же оказывалось, что косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубеченский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом: новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал их нам же и т. п. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке; там бабы по ночам крали тёс, кирпич, изразцы, железо; староста с понятыми делал у них обыск, сход штрафовал каждую на два рубля, и потом эти штрафные

деньги пропивались всем миром.

Когда Маша узнавала об этом, то с негодованием говорила доктору или моей сестре:

— Какие животные! Это ужас! ужас!

И я слышал не раз, как она выражала сожаление, что затеяла строить школу.

— Поймите, — убеждал ее доктор, — поймите, что если вы строите эту школу и вообще делаете добро, то не для мужиков, а во имя культуры, во имя будущего. И чем эти мужики хуже, тем больше поводов строить школу. Поймите!

В голосе его, однако, слышалась неуверенность, и мне казалось, что он вместе с Машей ненавидел мужиков.

Маша часто уходила на мельницу и брала с собою сестру, и обе, смеясь, говорили, что они идут посмотреть на Степана, какой он красивый. Степан, как оказалось, был медлителен и неразговорчив только с мужчинами, в женском же обществе держал себя развязно и говорил без умолку. Раз, придя на реку купаться, я невольно подслушал разговор. Маша и Клеопатра, обе в белых платьях, сидели на берегу под ивой, в широкой тени, а Степан стоял возле, заложив руки назад, и говорил:

— Нешто мужики — люди? Не люди, а, извини-

те, зверье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума; и ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так — невежа! И сам в грязи, и жена в грязи, и дети в грязи, в чем был, в том и лег, картошку из щей тащит прямо пальцами, квас пьет с тараканом, — хоть бы подул!

— Бедность ведь! — вступилась сестра.

— Какая бедность! Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это, действительно, не дай бог никому, а ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по образованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способие, то он ваши деньги пропьет по своей подлости или, того хуже, сам откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ грабить. Вы изволите говорить — бедность. А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная — так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца.

Вот Ларион дубеченский тоже богатый, а небось лубки в вашем лесу дерет не хуже бедного; и сам ругатель, и дети ругатели, а как выпьет лишнее, чкнется носом в лужу и спит. Все они, сударыня, нестоящие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду. Навязла она у меня в зубах, деревня-то эта, и благодарю господа, царя небесного, и сыт я, и одет, отслужил в драгунах свой срок, отходил старостой три года, и вольный я казак теперь: где хочу, там и живу. В деревне жить не желаю, и никто не имеет права меня заставить. Говорят, жена. Ты, говорят, обязан в избе с женой жить. А почему такое? Я к ней не нанимался.

— Скажите, Степан, вы женились по любви? — спросила Маша.

— Какая у нас в деревне любовь? — ответил Степан и усмехнулся. — Собственно, сударыня, ежели вам угодно знать, я женат во второй раз. Я сам не куриловский, а из Залегощa, а в Куриловку меня потом в зятья взяли. Значит, родитель не пожелал делить нас промежду себе — нас всех пять братьев, я поклонился и был таков, пошел в чужую деревню, в зятья. А первая моя жена померла в молодых летах.

— Отчего?

— От глупости. Плачет, бывало, все плачет и

плачет без толку, да так и зачахла. Какие-то все травки пила, чтобы покрасиветь, да, должно, повредила внутренность. А вторая моя жена, куриловская — что в ней? Деревенская баба, мужичка, и больше ничего. Когда ее за меня сватали, мне поманилось: думаю, молодая, белая из себя, чисто живут. Мать у ней словно бы хлыстовка и кофей пьет, а главное, значит, чисто живут. Стало быть, женился, а на другой день сели обедать, приказал я еще ложку подать, а она подает ложку и, гляжу, пальцем ее вытерла. Вот тебе на, думаю, хороша у вас чистота. Пожил с ними год и ушел. Мне, может, на городской бы жениться, — продолжал он, помолчав. — Говорят, жена мужу помощница. Для чего мне помощница, я и сам себе помогу, а ты лучше со мной поговори, да не так, чтоб все те-те-те-те, а обстоятельно, чувствительно. Без хорошего разговора — что за жизнь!

Степан вдруг замолчал, и тотчас же послышалось его скучное, монотонное «у-лю-лю-лю». Это значило, что он увидел меня.

Маша бывала часто на мельнице и в беседах со Степаном, очевидно, находила удовольствие; Степан так искренно и убежденно бранил мужиков — и ее тянуло к нему. Когда она возвращалась с мельницы, то всякий раз мужик-дурачок, кото-

рый стерег сад, кричал на нее:

— Девка Палашка! Здорово, девка Палашка! — И лаял на нее по-собачьи: — Гав! гав!

А она останавливалась и смотрела на него со вниманием, точно в лае этого дурачка находила ответ на свои мысли, и, вероятно, он притягивал ее так же, как брань Степана. А дома ожидало ее какое-нибудь известие, вроде того, например, что деревенские гуси потолкли у нас на огороде капусту или что Ларион вожжи украл, и она говорила, пожав плечами, с усмешкой:

— Что же вы хотите от этих людей!

Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь, а я между тем привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, всё с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову, — которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при

всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость. Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла; в ответ она молчала или напевала, как Степан: «у-лю-лю-лю»… Когда эта добрая, умная женщина бледнела от негодования и с дрожью в голосе говорила с доктором о пьянстве и обманах, то меня приводила в недоумение и поражала ее забывчивость. Как могла она забыть, что ее отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня, были приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов? Как могла она забыть?

XIV

И сестра тоже жила своею особою жизнью, которую тщательно скрывала от меня. Она часто шепталась с Машей. Когда я подходил к ней, она вся сжималась, и взгляд ее становился виноватым, умоляющим; очевидно, в ее душе происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы как-нибудь не встретиться в саду или не остаться со мною вдвоем, она все время держалась около Маши, и мне приходилось говорить с нею редко, только за обедом.

Как-то вечером я тихо шел садом, возвращаясь с постройки. Уже начинало темнеть. Не замечая меня, не слыша моих шагов, сестра ходила около старой, широкой яблони, совершенно бесшумно, точно привидение. Она была в черном и ходила быстро, все по одной линии, взад и вперед, глядя в землю. Упало с дерева яблоко, она вздрогнула от шума, остановилась и прижала руки к вискам. В это самое время я подошел к ней.

В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами, вспоминая почему-то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал.

— Что с тобою? — спросил я. — Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что с тобою?

— Мне страшно… — проговорила она, дрожа.

— Что же с тобой? — допытывался я. — Ради бога, будь откровенна!

— Я буду, буду откровенна, я скажу тебе всю правду. Скрывать от тебя — это так тяжело, так мучительно! Мисаил, я люблю… — продолжала она шепотом. — Я люблю, я люблю… Я счастлива, но почему мне так страшно!

Послышались шаги, показался между деревьями доктор Благово в шелковой рубахе, в высоких сапогах. Очевидно, здесь, около яблони, у них было назначено свидание. Увидев его, она бросилась к нему порывисто, с болезненным криком, точно его отнимали у нее:

— Владимир! Владимир!

Она прижималась к нему и с жадностью глядела ему в лицо, и только теперь я заметил, как похудела и побледнела она в последнее время. Особенно это было заметно по ее кружевному воротничку, который я давно знал и который теперь свободнее, чем когда-либо, облегал ее шею, тонкую и длинную. Доктор смутился, но тотчас же оправился и сказал, приглаживая ее волосы:

— Ну, полно, полно… Зачем так нервничать?

Видишь, я приехал.

Мы молчали, застенчиво поглядывая друг на друга. Потом мы шли втроем, и я слышал, как доктор говорил мне:

— Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах, это — старики, мы же с вами молоды, наших мозгов еще не тронул marasmus senilis,[28] мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в восемьсот шестьдесят втором году, а начала культурной Руси, я так понимаю, еще не было.

Но я не вникал в эти соображения. Как-то было странно, не хотелось верить, что сестра влюблена, что она вот идет и держит за руку чужого и нежно смотрит на него. Моя сестра, это нервное, запуганное, забитое, не свободное существо, любит человека, который уже женат и имеет детей! Чего-то мне стало жаль, а чего именно — не знаю; присутствие доктора почему-то было уже неприятно, и я никак не мог понять, что может выйти из этой их любви.

---

[28] Примечания: 28
Старческое бессилие (*лат.*).

XV

Я и Маша ехали в Куриловку на освящение школы.

— Осень, осень, осень… — тихо говорила Маша, глядя по сторонам. — Прошло лето. Птиц нет, и зелены одни только вербы.

Да, уже прошло лето. Стоят ясные, теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах, а в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это ноет на своих ржавых петлях, или летят журавли — и становится хорошо на душе и так хочется жить!

— Прошло лето… — говорила Маша. — Теперь мы с тобой можем подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого, — честь нам и слава, — мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность — все осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому

не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя.

Подобные рассуждения сбивали меня, и я не знал, что думать.

— Мы от начала до конца были искренни, — сказал я, — а кто искренен, тот и прав.

— Кто спорит? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, в чем мы правы. Прежде всего, самые наши внешние приемы — разве они не ошибочны? Ты хочешь быть полезен людям, но уж одним тем, что ты покупаешь имение, ты с самого начала преграждаешь себе всякую возможность сделать для них что-нибудь полезное. Затем, если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды… С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получаются кое-какие практические результаты, но что они, эти твои результаты, что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение? Капля в море! Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной

деятельности и старайся действовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергичная проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство! — продолжала она, мечтательно глядя на небо. — Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.

Когда мы подъезжали к Куриловке, погода была ясная, радостная. Кое-где во дворах молотили, пахло ржаною соломой. За плетнями ярко краснела рябина, и деревья кругом, куда ни взглянешь, были все золотые или красные. На колокольне звонили, несли к школе образа, и было слышно, как пели: «Заступница усердная». А какой прозрачный воздух, как высоко летали голуби!

Служили в классной молебен. Потом куриловские крестьяне поднесли Маше икону, а дубеченские — большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась.

— А ежели что было сказано лишнее или какие неудовольствия, то простите, — сказал один ста-

рик и поклонился ей и мне.

Когда мы ехали домой, Маша оглядывалась на школу; зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестевшая на солнце, долго была видна нам. И я чувствовал, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.

XVI

Вечером она собралась в город.

В последнее время она часто уезжала в город и там ночевала. В ее отсутствие я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш большой двор казался скучным, отвратительным пустырем, сад шумел сердито, и без нее дом, деревья, лошади для меня уже не были «наши».

Я никуда не выходил из дому, а все сидел за ее столом, около ее шкапа с сельскохозяйственными книгами, этими бывшими фаворитами, теперь уже ненужными, смотревшими на меня так сконфуженно. По целым часам, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, черная, как сажа, я осматривал ее старую перчатку, или перо, которым она всегда писала, или ее маленькие ножницы; я ничего не делал и ясно сознавал, что если раньше делал что-нибудь, если пахал, косил, рубил, то потому только, что этого хотела она. И если бы она послала меня чистить глубокий колодец, где бы я стоял по пояс в воде, то я полез бы и в колодец, не разбирая, нужно это или нет. А теперь, когда ее не было возле, Дубечня с ее развалинами, неуб-

ранством, с хлопающими ставнями, с ворами, ночными и дневными, представлялась мне уже хаосом, в котором всякая работа была бы бесполезна. Да и для чего мне было тут работать, для чего заботы и мысли о будущем, если я чувствовал, что из-под меня уходит почва, что роль моя здесь, в Дубечне, уже сыграна, что меня, одним словом, ожидает та же участь, которая постигла книги по сельскому хозяйству? О, какая это была тоска ночью, в часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что вот-вот кто-нибудь крикнет, что мне пора уходить. Мне не было жаль Дубечни, мне было жаль своей любви, для которой, очевидно, тоже наступила уже своя осень. Какое это огромное счастье любить и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни!

Маша вернулась из города на другой день к вечеру. Она была недовольна чем-то, но скрывала это и только сказала, зачем это вставлены все зимние рамы, — этак задохнуться можно. Я выставил две рамы. Нам есть не хотелось, но мы сели и поужинали.

— Поди вымой руки, — сказала жена. — От тебя пахнет замазкой.

Она привезла из города новые иллюстрированные журналы, и мы вместе рассматривали их после ужина. Попадались приложения с модными картинками и выкройками. Маша оглядывала их мельком и откладывала в сторону, чтобы потом рассмотреть особо, как следует; но одно платье с широкою, как колокол, гладкой юбкой и с большими рукавами заинтересовало ее, и она минуту смотрела на него серьезно и внимательно.

— Это недурно, — сказала она.

— Да, это платье тебе очень пойдет, — сказал я. — Очень!

И, глядя с умилением на платье, любуясь этим серым пятном только потому, что оно ей понравилось, я продолжал нежно:

— Чудное, прелестное платье! Прекрасная, великолепная Маша! Дорогая моя Маша!

И слезы закапали на картинку.

— Великолепная Маша… — бормотал я. — Милая, дорогая Маша…

Она пошла и легла, а я еще с час сидел и рассматривал иллюстрации.

— Напрасно ты выставил рамы, — сказала она из спальни. — Боюсь, как бы не было холодно. Ишь ведь, как задувает!

Я прочел кое-что из «смеси» — о приготовлении дешевых чернил и о самом большом брильянте на свете. Мне опять попалась модная картинка с платьем, которое ей понравилось, и я вообразил себе ее на балу с веером, с голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толк и в музыке, и в живописи, и в литературе, и какою маленькою, короткою показалась мне моя роль!

Наша встреча, это наше супружество были лишь эпизодом, каких будет еще немало в жизни этой живой, богато одаренной женщины. Все лучшее в мире, как я уже сказал, было к ее услугам и получалось ею совершенно даром, и даже идеи и модное умственное движение служили ей для наслаждения, разнообразя ей жизнь, и я был лишь извозчиком, который довез ее от одного увлечения к другому. Теперь уж я не нужен ей, она выпорхнет, и я останусь один.

И как бы в ответ на мои мысли на дворе раздался отчаянный крик:

— Ка-ра-у-л!

Это был тонкий бабий голос, и, точно желая передразнить его, в трубе загудел ветер тоже тонким голосом. Прошло с полминуты, и опять послышалось сквозь шум ветра, но уже как будто с другого конца двора:

— Ка-ра-у-л!

— Мисаил, ты слышишь? — спросила тихо жена. — Ты слышишь?

Она вышла ко мне из спальни в одной сорочке, с распущенными волосами, и прислушалась, глядя на темное окно.

— Кого-то душат! — проговорила она. — Этого еще недоставало.

Я взял ружье и вышел. На дворе было очень темно, дул сильный ветер, так что трудно было стоять. Я прошелся к воротам, прислушался: шумят деревья, свистит ветер, и в саду, должно быть у мужика-дурачка, лениво подвывает собака. За воротами тьма кромешная, на линии ни одного огонька. И около того флигеля, где в прошлом году была контора, вдруг раздался придушенный крик:

— Ка-ра-у-л!

— Кто там? — окликнул я.

Боролись два человека. Один выталкивал, а другой упирался, и оба тяжело дышали.

— Пусти! — говорил один, и я узнал Ивана Чепракова; он-то и кричал тонким бабьим голосом. — Пусти, проклятый, а то я тебе все руки искусаю!

В другом я узнал Моисея. Я рознял их и при этом

не удержался и ударил Моисея по лицу два раза. Он упал, потом поднялся, и я ударил его еще раз.

— Они хотели меня убить, — бормотал он. — К мамашиному комоду подбирались… Их я желаю запереть во флигеле для безопасности-с.

А Чепраков был пьян, не узнавал меня и все глубоко вздыхал, как бы набирая воздуху, чтобы опять крикнуть «караул».

Я оставил их и вернулся в дом; жена лежала в постели, уже одетая. Я рассказал ей о том, что происходило на дворе, и не скрыл даже, что бил Моисея.

— Страшно жить в деревне, — проговорила она. — И какая это длинная ночь, бог с ней.

— Ка-ра-у-л! — послышалось опять немного погодя.

— Я пойду уйму их, — сказал я.

— Нет, пусть они себе там перегрызут горла, — проговорила она с брезгливым выражением.

Она глядела в потолок и прислушивалась, а я сидел возле, не смея заговорить с нею, с таким чувством, как будто я был виноват, что на дворе кричали «караул» и что ночь была такая длинная.

Мы молчали, и я с нетерпением ждал, когда в окнах забрезжит свет. А Маша все время глядела

так, будто очнулась от забытья и теперь удивлялась, как это она, такая умная, воспитанная, такая опрятная, могла попасть в этот жалкий провинциальный пустырь, в шайку мелких, ничтожных людей и как это она могла забыться до такой степени, что даже увлеклась одним из этих людей и больше полугода была его женой. Мне казалось, что для нее было уже все равно, что я, что Моисей, что Чепраков; все для нее слилось в этом пьяном, диком «караул» — и я, и наш брак, и наше хозяйство, и осенняя распутица; и когда она вздыхала или двигалась, чтобы лечь поудобнее, то я читал на ее лице: «О, поскорее бы утро!»

Утром она уехала.

Я прожил в Дубечне еще три дня, поджидая ее, потом сложил все наши вещи в одну комнату, запер и пошел в город. Когда я позвонился к инженеру, то был уже вечер, и на нашей Большой Дворянской горели фонари. Павел сказал мне, что никого нет дома: Виктор Иваныч уехал в Петербург, а Мария Викторовна, должно быть, у Ажогиных на репетиции. Помню, с каким волнением я шел потом к Ажогиным, как стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лестнице и долго стоял вверху на площадке, не смея войти в этот храм муз! В зале на столике,

на рояле, на сцене горели свечи, везде по три, и первый спектакль был назначен на тринадцатое число, и теперь первая репетиция была в понедельник — тяжелый день. Борьба с предрассудками! Все любители сценического искусства были уже в сборе; старшая, средняя и младшая ходили по сцене, читая свои роли по тетрадкам. В стороне ото всех неподвижно стоял Редька, прислонившись виском к стене, и с обожанием смотрел на сцену, ожидая начала репетиции. Все как было!

Я направился к хозяйке, — надо было поздороваться, но вдруг все зашикали, замахали мне, чтобы я не стучал ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля, села какая-то дама, щуря свои близорукие глаза на ноты, и к роялю подошла моя Маша, разодетая, красивая, но красивая как-то особенно, по-новому, совсем не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мне на мельницу; она запела:

Отчего я люблю тебя, светлая ночь?

За все время нашего знакомства это в первый раз я слышал, как она пела. У нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую

дыню. Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье, точно птица, которая вырвалась наконец из клетки и на свободе оправляет свои крылья. Волосы у нее были зачесаны на уши, и на лице было нехорошее, задорное выражение, точно она хотела сделать всем нам вызов или крикнуть на нас, как на лошадей: «Эй, вы, милые!»

И, должно быть, в это время она была очень похожа на своего деда-ямщика.

— И ты здесь? — спросила она, подавая мне руку. — Ты слышал, как я пела? Ну, как ты находишь? — И, не дожидаясь моего ответа, она продолжала: — Очень кстати, что ты здесь. Сегодня ночью я уезжаю ненадолго в Петербург. Ты меня отпустишь?

В полночь я провожал ее на вокзал. Она нежно обняла меня, вероятно, в благодарность за то, что я не задавал ненужных вопросов, и обещала писать мне, а я долго сжимал ее руки и целовал их, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова.

А когда она уехала, я стоял, смотрел на удалявшиеся огни, ласкал ее в своем воображении и тихо говорил:

— Милая моя Маша, великолепная Маша…

Ночевал я в Макарихе у Карповны, а утром уже вместе с Редькой обивал мебель у одного богатого купца, выдававшего свою дочь за доктора.

XVII

В воскресенье после обеда приходила ко мне сестра и пила со мною чай.

— Теперь я очень много читаю, — говорила она, показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской библиотеки. — Спасибо твоей жене и Владимиру, они возбудили во мне самосознание. Они спасли меня, сделали то, что я теперь чувствую себя человеком. Прежде, бывало, я не спала по ночам от разных забот: «Ах, за неделю у нас сошло много сахару! ах, как бы не пересолить огурцы!» И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю теперь как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир? Это такой чудный человек! Они открыли мне глаза.

— Это нехорошо, что ты не спишь по ночам, — сказал я.

— Ты думаешь, я больна? Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно… Ты мне скажи: я права?

Она нуждалась в нравственной поддержке — это было очевидно. Маша уехала, доктор Благово был в Петербурге, и в городе не оставалось никого, кроме меня, кто бы мог сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли, и если я при ней задумывался и молчал, то она это принимала на свой счет и становилась печальна. Приходилось все время быть настороже, и когда она спрашивала меня, права ли она, то я спешил ответить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю.

— Ты знаешь? Мне у Ажогиных дали роль, — продолжала она. — Хочу играть на сцене. Хочу жить, одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль всего в десять строк, но все же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай по пяти раз на день и поглядывать, не съела ли кухарка лишнего куска. А главное, пусть наконец отец увидит, что и я способна на протест.

После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами, очень бледная.

— Какая слабость! — проговорила она, поднимаясь. — Владимир говорил, что все городские женщины и девушки малокровны от безделья.

Какой умный человек Владимир! Он прав, бесконечно прав. Надо работать!

Через два дня она пришла к Ажогиным на репетицию, с тетрадкой. Она была в черном платье, с коралловою ниткой на шее, с брошью, похожею издали на слоеный пирожок, и в углах были большие серьги, в которых блестело по брильянту. Когда я взглянул на нее, то мне стало неловко: меня поразила безвкусица. Что она некстати надела серьги и брильянты и была странно одета, заметили и другие; я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь:

— Клеопатра Египетская.

Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее.

— Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию, — начала она, подходя ко мне, — и он крикнул, что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня. Представь, я не знаю своей роли, — сказала она, заглядывая в тетрадку. — Я непременно собьюсь. Итак, жребий брошен, — продолжала она в сильном волнении. — Жребий брошен…

Ей казалось, что все смотрят на нее и все

изумлены тем важным шагом, на который она решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно.

До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостьи, провинциальной кумушки, заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере часа полтора, пока на сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и все время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку; и, воображая, что все смотрят на нее и ждут ее выхода, она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:

— Я непременно собьюсь… Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь.

Наконец настала ее очередь.

— Клеопатра Алексеевна, — вам! — сказал режиссер.

Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с полминуты простояла, как в столбняке, совершенно неподвижно, и только одни большие сережки

качались под ушами.

— В первый раз можно по тетрадке, — сказал кто-то.

Мне было ясно, что она дрожит и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку, и что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать ей что-нибудь, как она вдруг опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала.

Все двигалось, все шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать. Я видел, как ее подняли и увели. Я видел, как ко мне подошла Анюта Благово; раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто зашла только на минуту.

— Я говорила ей, чтобы она не играла, — сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснея. — Это — безумие! Вы должны были удержать ее!

Быстро подошла Ажогина-мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с табачным пеплом на груди, худая и плоская.

— Друг мой, это ужасно, — проговорила она, ломая руки и, по обыкновению, пристально всматриваясь мне в лицо. — Это ужасно! Ваша

сестра в положении… она беременна! Уведите ее, прошу вас…

Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она, худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали каторжника. Какой позор, как страшно! А ведь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками; очевидно, оно полагало, что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в тринадцатом числе, в тяжелом дне — понедельнике!

— Прошу вас… прошу… — повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком на слоге «шу» и выговаривая его как «шю». — Прошю, уведите ее домой.

XVIII

Немного погодя я и сестра шли по лестнице. Я прикрывал ее полой своего пальто; мы торопились, выбирая переулки, где не было фонарей, прячась от встречных, и это было похоже на бегство. Она уже не плакала, а глядела на меня сухими глазами. До Макарихи, куда я вел ее, было ходьбы всего минут двадцать, и, странное дело, за такое короткое время мы успели припомнить всю нашу жизнь, мы обо всем переговорили, обдумали наше положение, сообразили…

Мы решили, что нам уже нельзя больше оставаться в этом городе и что когда я добуду немного денег, то мы переедем куда-нибудь в другое место. В одних домах уже спали, в других играли в карты; мы ненавидели эти дома, боялись их и говорили об изуверстве, сердечной грубости, ничтожестве этих почтенных семейств, этих любителей драматического искусства, которых мы так испугали, и я спрашивал, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков, или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность

нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами. Что было бы теперь с сестрой, если бы она осталась жить дома? Какие нравственные мучения испытывала бы она, разговаривая с отцом, встречаясь каждый день со знакомыми? Я воображал себе это, и тут же мне приходили на память люди, все знакомые люди, которых медленно сживали со света их близкие и родные, припомнились замученные собаки, сходившие с ума, живые воробьи, ощипанные мальчишками догола и брошенные в воду, — и длинный, длинный ряд глухих медлительных страданий, которые я наблюдал в этом городе непрерывно с самого детства; и мне было непонятно, чем живут эти шестьдесят тысяч жителей, для чего они читают Евангелие, для чего молятся, для чего читают книги и журналы. Какую пользу принесло им все то, что до сих пор писалось и говорилось, если у них все та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что было и сто и триста лет назад? Подрядчик-плотник всю свою жизнь строит в городе дома и все же до самой смерти вместо «галерея» говорит «галдарея», так и эти шестьдесят тысяч жителей поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе и все же до самой смерти лгут от утра до вечера,

мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага.

— Итак, судьба моя решена, — сказала сестра, когда мы пришли домой. — После того, что случилось, я уже не могу возвратиться туда. Господи, как это хорошо! У меня стало легко на душе.

Она тотчас легла в постель. На ресницах у нее блестели слезы, но выражение было счастливое, спала она крепко и сладко, и видно было, что в самом деле у нее легко на душе и что она отдыхает. Давно-давно уже она не спала так!

И вот мы начали жить вместе. Она все пела и говорила, что ей очень хорошо, и книги, которые мы брали в библиотеке, я уносил обратно нечитаными, так как она уже не могла читать; ей хотелось только мечтать и говорить о будущем. Починяя мое белье или помогая Карповне около печки, она то напевала, то говорила о своем Владимире, об его уме, прекрасных манерах, доброте, об его необыкновенной учености, и я соглашался с нею, хотя уже не любил ее доктора. Ей хотелось работать, жить самостоятельно, на свой счет, и она говорила, что пойдет в учительницы или в фельдшерицы, как только позволит здоровье, и будет сама мыть полы, стирать белье. Она уже страстно любила своего маленького; его

еще не было на свете, но она уже знала, какие у него глаза, какие руки и как он смеется. Она любила поговорить о воспитании, а так как лучшим человеком на свете был Владимир, то и все рассуждения ее о воспитании сводились к тому только, чтобы мальчик был так же очарователен, как его отец. Конца не было разговорам, и все, что она говорила, возбуждало в ней живую радость. Иногда радовался и я, сам не зная чему.

Должно быть, она заразила меня своей мечтательностью. Я тоже ничего не читал и только мечтал; по вечерам, несмотря на утомление, я ходил по комнате из угла в угол, заложив руки в карманы, и говорил о Маше.

— Как ты думаешь, — спрашивал я сестру, — когда она вернется? Мне кажется, она вернется к Рождеству, не позже. Что ей там делать?

— Если она тебе не пишет, то, очевидно, вернется очень скоро.

— Это правда, — соглашался я, хотя отлично знал, что Маше уже незачем возвращаться в наш город.

Я сильно соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали другие. Сестра ожидала своего доктора, а я — Машу, и оба мы непрерывно говорили, смея-

лись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке и все бормотала:

— Самовар-то гудел поутру, гуде-ел! Ох, не к добру, сердечные, не к добру.

У нас никто не бывал, кроме почтальона, приносившего сестре письма от доктора, да Прокофия, который иногда вечером заходил к нам и, молча поглядев на сестру, уходил и уж у себя в кухне говорил:

— Всякое звание должно свою науку помнить, а кто не желает этого понимать по своей гордости, тому юдоль.

Он любил слово «юдоль». Как-то — это было уже на Святках, — когда я проходил базаром, он зазвал меня к себе в мясную лавку и, не подавая мне руки, заявил, что ему нужно поговорить со мною о каком-то очень важном деле. Он был красен от мороза и от водки; возле него за прилавком стоял Николка с разбойничьим лицом, держа в руке окровавленный нож.

— Я желаю выразить вам мои слова, — начал Прокофий. — Это событие не может существовать, потому что, сами понимаете, за такую юдоль люди не похвалят ни нас, ни вас. Мамаша, конечно, из жалости не может говорить вам неприятности, чтобы ваша сестрица перебралась

на другую квартиру по причине своего положения, а я больше не желаю, потому что ихнего поведения не могу одобрить.

Я понял его и вышел из лавки. В тот же день я и сестра перебрались к Редьке. У нас не было денег на извозчика, и мы шли пешком; я нес на спине узел с нашими вещами, у сестры же ничего не было в руках, но она задыхалась, кашляла и все спрашивала, скоро ли мы дойдем.

XIX

Наконец пришло письмо от Маши.

«Милый, хороший М. А., — писала она, — добрый, кроткий „ангел вы наш“, как называет вас старый маляр, прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку. Через несколько дней я увижу океан — так далеко от Дубечни, страшно подумать! Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю, я торжествую, я безумствую, и вы видите, как нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мне свободу, скорее порвите нить, которая еще держится, связывая меня и вас. То, что я встретила и узнала вас, было небесным лучом, озарившим мое существование; но то, что я стала вашею женой, было ошибкой, вы понимаете это, и меня теперь тяготит сознание ошибки, и я на коленях умоляю вас, мой великодушный друг, скорее-скорее, до отъезда моего в океан, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку, снять этот единственный камень с моих крыльев, и мой отец, который примет на себя все хлопоты, обещает мне не слишком отягощать вас формальностями. Итак, вольная на все четыре стороны? Да?

Будьте счастливы, да благословит вас бог, простите меня, грешную.

Жива, здорова. Сорю деньгами, делаю много глупостей и каждую минуту благодарю бога, что у такой дурной женщины, как я, нет детей. Я пою и имею успех, но это не увлечение, нет, это — моя пристань, моя келия, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо с надписью: „Все проходит“. Когда грустно, то от этих слов становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себе такое кольцо с еврейскими буквами, и этот талисман удержит меня от увлечений. Все проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что, когда человек свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Вас и сестру крепко обнимаю. Простите и забудьте вашу М.».

Сестра лежала в одной комнате, Редька, который опять был болен и уже выздоравливал, — в другой. Как раз в то время, когда я получил это письмо, сестра тихо прошла к маляру, села возле и стала читать. Она каждый день читала ему Островского или Гоголя, и он слушал, глядя в одну точку, не смеясь, покачивая головой, и изредка бормотал про себя:

— Все может быть! Все может быть!

Если в пьесе изображалось что-нибудь некрасивое, безобразное, то он говорил как бы с злорадством, тыча в книгу пальцем:

— Вот она, лжа-то! Вот она что делает, лжа-то!

Пьесы привлекали его и содержанием, и моралью, и своею сложною, искусною постройкой, и он удивлялся *ему*, никогда не называя *его* по фамилии:

— Как это *он* ловко все пригнал к месту!

Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше: не хватало голоса. Редька взял ее за руку и, пошевелив высохшими губами, сказал едва слышно, сиплым голосом:

— Душа у праведного белая и гладкая, как мел, а у грешного как пемза. Душа у праведного — олифа светлая, а у грешного — смола газовая. Трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо, — продолжал он, — а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного. Тля ест траву, ржа — железо…

— А лжа — душу, — продолжила сестра и рассмеялась.

Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню

пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булки и рябчиков, от которых пахло духами. Работы у меня не было, приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булки, знал, что мы нуждаемся.

Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она, лежа, ела булку и говорила мне:

— Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая это сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Анюту Благово. Она тебя любит, обожает, она знает, что ты прав; она и меня любит, как сестру, и знает, что я права, и небось в душе завидует мне, но какая-то сила мешает ей прийти к нам, она избегает нас, боится.

Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением:

— Как она тебя любит, если б ты знал! В этой любви она признавалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому

что любит тебя. Тебе жаль ее?

— Да.

— Это она прислала булки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда и уже никого не боюсь, думаю и говорю вслух, что хочу, — и стала счастливой. Когда жила дома, и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой.

Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства, держал в переднем кармане пиджака. Однажды, от нечего делать, мы с нею принялись считать на память все его костюмы и решили, что у него их, по крайней мере, штук десять. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу, и я не мог

себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем, она говорила, что пусть он едет, куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольно и того, что было.

Обыкновенно, придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло креозотом.

— Вот умница, — сказал он, принимая от нее стакан. — Тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи.

Она засмеялась. Потом он вышел в комнату Редьки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу.

— Ну что, старик? — спросил он, наклоняясь к больному.

— Ваше высокоблагородие… — проговорил Редька, тихо пошевелив губами, — ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить… все под богом ходим, всем помирать надо… Дозвольте правду сказать… Ваше высокоблагородие, не будет вам

царства небесного!

— Что же делать, — пошутил доктор, — надо быть кому-нибудь и в аду.

И вдруг что-то сделалось с моим сознанием; точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой; я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню и объяснение с губернатором и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле.

Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице, вместе с доктором стою около фонаря.

— Грустно, грустно, — говорил он, и слезы текли у него по щекам. — Она весела, постоянно смеется, надеется, а положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения, и я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить, мы все должны любить — не правда ли? — без любви не было бы жизни; кто

боится и избегает любви, тот не свободен.

Мало-помалу он перешел на другие темы, заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге; он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. У той — Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого — докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом.

Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. И я вспомнил, живо вспомнил, как весной, утром, она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком — ей хотелось походить на простую бабу. А когда, в другой раз, — это было тоже утром, — мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись…

В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было: около печи шипел самовар, поджидая моего отца. «Кто-то теперь, — подумал я, — разливает отцу чай?» Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели

по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин, но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленой хибарке. Сознанье мое путалось, и я видел всякий вздор.

Звонок. С детства знакомые звуки: сначала проволока шуршит по стене, потом в кухне раздается короткий, жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала.

— Родной мой! — заговорила она тихо. — Дорогой! О, господи!

И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутыли с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда в кухню и располагали к сказкам, к игре в короли…

— А Клеопатра где? — спрашивала Аксинья

тихо, торопясь, сдерживая дыхание. — А шапка твоя где, батюшка? А жена, сказывают, в Питер уехала?

Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте, и теперь для нее мы все еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни все время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре, — стоит только припугнуть его, и если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак; что хорошо бы потихоньку от жены Дубечню продать, а деньги положить в банк на мое имя; что если бы я и сестра поклонились отцу в ноги и попросили хорошенько, то, быть может, он простил бы нас; что надо бы отслужить молебен царице небесной…

— Ну, иди, батюшка, поговори с ним, — сказала она, когда послышался кашель отца. — Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится.

Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башней, похожею на пожарную каланчу, — нечто

необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила Аксинья, поклониться ему в ноги; но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержал меня.

— Добрый вечер, — сказал я.

Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж.

— Что тебе нужно? — спросил он немного погодя.

— Я пришел вам сказать — сестра очень больна. Она скоро умрет, — добавил я глухо.

— Что ж? — вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол. — Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь, — повторил он, вставая из-за стола, — то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, как два года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге, чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих

ложных взглядов; мало того, в свои заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж? Что посеешь, то и пожнешь!

Он говорил это и ходил по кабинету. Вероятно, он думал, что я пришел к нему с повинною, и, вероятно, он ждал, что я начну просить за себя и сестру. Мне было холодно, я дрожал, как в лихорадке, и говорил с трудом, хриплым голосом.

— И я тоже прошу вспомнить, — сказал я, — на этом самом месте я умолял вас понять меня, вдуматься, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, который писал стихи. Вам говорят теперь о том, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях… И такое легкомыслие в старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить каких-нибудь пять, десять лет!

— Ты зачем пришел сюда? — строго спросил отец, очевидно оскорбленный тем, что я попрекнул его легкомыслием.

— Не знаю. Я люблю вас, мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга, — вот я и пришел. Я еще люблю вас, но сестра уже окончательно порвала с вами. Она не прощает и уже

никогда не простит. Ваше одно имя возбуждает в ней отвращение к прошлому, к жизни.

— А кто виноват? — крикнул отец. — Ты же и виноват, негодяй.

— Да, пусть я виноват, — сказал я. — Сознаю, я виноват во многом, но зачем же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас, — зачем она так скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже тридцать лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым? Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей… Бедная моя мать! — продолжал я в отчаянии. — Бедная сестра! Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить или десятки лет чертить и чертить, чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах. Город наш существует уже сотни лет, и за все время он не дал родине ни одного полезного человека — ни одного! Вы душили в зародыше все мало-мальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, попов, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг

провалился сквозь землю.

— Я не желаю слушать тебя, негодяй! — сказал отец и взял со стола линейку. — Ты пьян! Ты не смеешь являться в таком виде к отцу! Говорю тебе в последний раз, и передай это своей безнравственной сестре, что вы от меня ничего не получите. Непокорных детей я вырвал из своего сердца, и если они страдают от непокорности и упорства, то я не жалею их. Можешь уходить откуда пришел! Богу угодно было наказать меня вами, но я со смирением переношу это испытание и, как Иов, нахожу утешение в страданиях и постоянном труде. Ты не должен переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедлив, все, что я говорю, это полезно, и если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что я говорил тебе и говорю.

Я махнул рукой и вышел. Затем не помню, что было ночью и на другой день.

Говорят, что я ходил по улицам без шапки, шатаясь, и громко пел, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали:

— Маленькая польза! Маленькая польза!

XX

Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут маленькой пользой, не смеются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла; напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком, после Редьки, который хотя и выздоровел и хотя по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях, но уже не в силах управляться с ребятами; вместо него я теперь бегаю по городу и ищу заказов, я нанимаю и рассчитываю ребят, я беру деньги взаймы под большие проценты. И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как это из-за грошового заказа

можно дня по три бегать по городу и искать кровельщиков. Со мною вежливы, говорят мне *вы*, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня.

Как-то я работал в губернаторском саду, красил там беседку под мрамор. Губернатор, гуляя, зашел в беседку и от нечего делать заговорил со мною, и я напомнил ему, как он когда-то приглашал меня к себе для объяснений. Он минуту вглядывался мне в лицо, потом сделал рот, как *о*, развел руками и сказал:

— Не помню!

Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и говорят, что я стал похож на Редьку и, как он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезными наставлениями.

Мария Викторовна, бывшая жена моя, живет теперь за границей, а ее отец, инженер, где-то в восточных губерниях строит дорогу и покупает там имения. Доктор Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять к госпоже Чепраковой, которая купила ее, выторговав у инженера двадцать процентов уступки. Моисей ходит уже в шляпе котелком; он часто приезжает в город

на беговых дрожках по каким-то делам и останавливается около банка. Говорят, что он уже купил себе имение с переводом долга и постоянно справляется в банке насчет Дубечни, которую тоже собирается купить. Бедный Иван Чепраков долго шатался по городу, ничего не делая и пьянствуя. Я попытался было пристроить его к нашему делу, и одно время он вместе с нами красил крыши и вставлял стекла и даже вошел во вкус и, как настоящий маляр, крал олифу, просил на чай, пьянствовал. Но скоро дело надоело ему, он заскучал и вернулся в Дубечню, и потом ребята признавались мне, что он подговаривал их как-нибудь ночью вместе с ним убить Моисея и ограбить генеральшу.

Отец сильно постарел, сгорбился и по вечерам гуляет около своего дома. Я у него не бываю.

Прокофий во время холеры лечил лавочников перцовкой и дегтем и брал за это деньги, и, как я узнал из нашей газеты, его наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах. Его приказчик Николка умер от холеры. Карповна еще жива и по-прежнему любит и боится своего Прокофия. Увидев меня, она всякий раз печально качает головой и говорит со вздохом:

— Пропала твоя головушка!

В будни я бываю занят с раннего утра до вечера. А по праздникам, в хорошую погоду, я беру на руки свою крошечную племянницу (сестра ожидала мальчика, но родилась у нее девочка) и иду не спеша на кладбище. Там я стою или сижу и подолгу смотрю на дорогую мне могилу и говорю девочке, что тут лежит ее мама.

Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоим молча или говорим о Клеопатре, об ее девочке, о том, как грустно жить на этом свете. Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг — нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки, и мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку.

А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая… И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.

1895

Мужики

I

Лакей при московской гостинице «Славянский базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это

вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша. — Кис!

— Она у нас не слышит, — сказала девочка. — Оглохла.

— Отчего?

— Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая — не лучше, зато у крайней — железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены

черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там, внизу, расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом, так же как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

— Хорошо у вас здесь! — сказала Ольга, крестясь на церковь. — Раздолье, господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

— Об эту пору в «Славянском базаре» обеды… — проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, — и все смолкло, тихий свет погас в воздухе, и стала быстро надви-

гаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, — двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, — напрасно!

— А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались.

— У купца в сторожах живет, — ответил отец, — в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

— Не добытчик! — проговорила старуха слезливо. — Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно

пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет, — сказал старик, — легок на помине.

Все притихли. И немного погодя опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

— А ты чего, холера? — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. — Небось не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

— Ма-арья! — раздался крик у самой двери.

— Вступитесь, Христа ради, родименькие, — залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в

очень холодную воду, — вступитесь, родименькие…

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий, чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, — страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

— Экой срам-то, срам, — бормотал старик, полезая на печь, — при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку… Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

— А, приехали… — проговорил он, выпуская жену. — Родной братец с семейством…

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

— Братец с семейством приехали в родитель-

ский дом… из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов… Извините…

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка при общем молчании… Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

— И-и, касатка, — говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, — слезами горю не поможешь! Терпи, и все тут. В Писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую… И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

— А в Москве дома большие, каменные, — говорила она, — церквей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка,

Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, — обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

— А ну его!

Поговорили и затихли…

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

— Старик ничего, — рассказывала Марья, — а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до Масленой, покупаем муку в трактире, — ну, она серчает: много, говорит, едите.

— И-и, касатка! Терпи, и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божию матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать

никого на свете, — ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

— Ты откуда родом? — спросила Марья.

— Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

— Это наша Фекла, — узнала Марья, — за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная — страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

— Озорная — страсть! — повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была

бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее — и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это — порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: «Ма-арья!» — и она вздрагивала.

III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду «Эрмитаж». И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно:

— Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком.

— Батюшка ты мой, — проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча, — и ничего про них, голубчика, не слыхать.

— Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах… Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

— Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

— Она у меня и читать может! — похвалилась

Ольга, нежно глядя на свою дочь. — Почитай, детка! — сказала она, доставая из угла Евангелие. — Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

— «Отошедшим же им, се ангел господень… во сне явился Иосифу, глаголя: „Востав поими отроча и матерь его…“»

— Отроча и матерь его, — повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.

— «И бежи во Египет… и буди тамо, дондеже реку ти…»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на́полдень и потом

роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут зада́ми на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

— Да, — рассказывал он, взявшись за бока. — Да… После Воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно… Да… Хорошо… Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый

час, гляжу — выходит из трактира староста Антип Седельников. «Куда везешь, такой-сякой?» — и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

— Водка-то что делает. Ах ты, боже мой! — бормотал он, встряхивая своею больною головой. — Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

— Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики,

которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

— Оставь, — убеждал старик, — оставь… Она баба смирная… Грех…

— Ма-арья! — крикнул Кирьяк.

— Оставь… Грех… Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

— Лю-эблю я цветы полевы-и! — запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. — Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду зада́ми, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидала старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро, и все — девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

— В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зеле-

ненькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек — туп, туп, туп… А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, — добавила она, подражая своей матери. — А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

— С ко-ло-ко-ла-ми? — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

— С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скоромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

— Гляди на небо, не мигай, — ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

— Видишь? — спросила Саша.

— Не видать, — проговорила Мотька басом.

— А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками — мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и

спросила:

— Бабка будет гореть?

— Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкою зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

— Как мне стало смешно! — сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

— Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув

шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

— Батюшки мои! — изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. — Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

— Ничего, ничего! — утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове. — Она — бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого

полного права ее бить!

— Ну, околеваешь там на печке, ледащий! — крикнула на него Фекла со злобой. — Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

— Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О господи, — продолжал он с тоской, — хоть бы одним глазом

на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь, в Успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала Страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V

На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

— Пожар! Пожар! — раздался внизу отчаянный крик. — Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то,

что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике как ни в чем не бывало.

— Дядя Семен горит! — крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем… — понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко,

до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим — неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

— Бабы, воды! — кричал он. — Машину подавай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

— Девки, воды! — кричал староста, тоже пьяный. — Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

— Молодец, Антип! — слышались одобрительные голоса. — Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

— Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

— Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

— Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: «Пусти, говорит, ночевать...» Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара, — старичка чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика

сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали, и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша… А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубу лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

— Не давайте ломать! — раздались в толпе

строгие голоса. — Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках, — должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

— Жорж! — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. — Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, — это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

— Вы, барин, хорошо тушили, — сказала Ольга

студенту. — Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

— А вы разве из Москвы? — спросила одна из барышень.

— Точно так. Мой муж служил в «Славянском базаре»-с. А это моя дочь, — указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. — Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

— Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, — сказал он, обращаясь к студенту, — а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, — добавил он конфузливо, тоном ниже, — заря холодная, погреться бы… на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказала мужу с восхищением:

— Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни — как херувимчики.

— Чтоб их ро́зорвало! — проговорила сонная Фекла со злобой.

VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! — говорила она с злорадством. — Погляжу-у!

Однажды утром, — это было уже в начале сентября, — Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

— Чай да сахар! — проговорила Фекла насмешливо. — Барыни какие, — добавила она, ставя ведра, — моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. — Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу

по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

— Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного — копеек двадцать в неделю.

— При господах лучше было, — говорил старик, мотая шелк. — И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал не спеша про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псовичами и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битою птицей

для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая — за мещанина, третью — увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И, вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

— Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький, лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось «поутру проснувшись».

— А котлеты марешаль тогда делали? — спросил Николай.

— Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

— Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз не мигая; казалось, что их было очень много — точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевельнуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшно холодна эта смерть, которая не за горами, — лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак… Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку — и сна нет, тело такое, точно

отлежал его, и лезут в голову всё мысли о смерти; повернулся на другой бок — о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее…

— О, господи! — вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тут? — окликнула Ольга.

— Я, — послышался ответ. — Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами, и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

— На той стороне озорники раздели, пустили так… — проговорила она. — Домой без одежи шла… в чем мать родила. Принеси одеться.

— Да ты в избу иди! — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

— Старики бы не увидали.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: «Кто там?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

— Это ты, гладкая? — сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. — У, чтоб тебя, полунощница… нет на тебя погибели!

— Ничего, ничего, — шептала Ольга, кутая Феклу, — ничего, касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль в спине, бабке — заботы и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

— О, господи! — вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна, или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки — и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

— Нет, воля лучше!

VII

Приехал барин — так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, — ему было только тридцать лет с небольшим, — был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он — староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не живал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных

умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

— За им, ваше высокоблагородие, сто девятнадцать рублей, — сказал он, когда очередь дошла до Осипа. — Перед Святой как дал рубль, так с того времени ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

— Почему же это, братец?

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, — начал Осип, волнуясь, — дозвольте сказать, летошний год лютерецкий барин: «Осип, говорит, продай сено… Ты, говорит, продай». Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили. Ну, сторговались… Все хорошо, добровольно…

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в

свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

— Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, — сказал пристав. — Я спрашиваю тебе ... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

— Мочи моей нету!

— Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, — сказал староста. — Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся — водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

— Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

— Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гна-

лась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

— Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!

— Бабка, бабка, — сказал строго староста, — имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки, — не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добы-

вал в «Славянском базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

— Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

— Принеси три рубля, тогда и получишь.

— Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

— Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

— От земского начальника все зависящее. В

административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец, и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

— Земство! — говорил Осип. — Кто ж!

— Известно, земство.

Земство обвиняли во всем — и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских

гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет пятнадцать-двадцать назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега…

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец и стали решать, кто виноват.

— Земство! — проговорил уныло Осип. — Кто ж!

VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговеться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

— А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила

и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

— Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери…

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и, только когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

— Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на

Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка… И старик, и бабка, и Кирьяк — все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей

и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки.

— Заступница, матушка! — рыдала Марья. — Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота — вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка — расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась

и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не семьдесят, а пятьдесят восемь лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, — с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длин-

нополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

— Оно хорошо, — говорил портной. — Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил,

чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на Благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец, — и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковом и тою стороной все пространство сплошь было занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же

краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее, и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли

Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет, и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь

или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами… И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

— Опять я одна осталася, бедная моя головушка, бедная-несчастная…

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то,

что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что́ милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

— Православные христиане, — запела Саша, — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное…

1897